

Нелли Абдуллина

СЫН ОБЕТОВАНИЯ

Отрывок из романа

Совершеннолетие (ноябрь 1907 года)

Ибрагим мчался верхом на лучшем скакуне из отцовского табуна. То был плотный вороной конь, прозванный за масть и шаг — Кара-юрга, как иноходец из песни. Прежде отец позволял объезжать его только старшим братьям — Арслану и Нахретдину.

От радости Ибрагим разгорячился, припустил рысью. Конь несся над степью, почти не касаясь копытами земли: чуть крепче сжать ему бока — и полетит.

Но за миг до этого Ибрагим проснулся. В доме было еще темно. Нахретдин спал на краю нар, целиком перетянув одеяло на себя. В отгороженном углу, у молодоженов, смолкло насекомье верещание Шамсии — новорожденной дочери Арслана. Только на женской половине сонно, ворчливо переговаривались сестры, как птицы перед зарей, и слабый луч керосинки бился в красной занавеске.

Ибрагим повернулся на другой бок и почувствовал, что под животом, в шароварах у него мокро и вязко, будто разлился пузырек с костным клеем.

— Ух, шайтан, — он вскочил с нар, поплотнее завернулся в чекмень и выбежал из избы.

Так наступило его совершеннолетие — седьмого числа месяца Шавваль, 1325 года по хиджре¹.

Отец предостерегал его: «Детство — пора милости, данной взаймы. Станешь юношей — за каждый проступок ответишь перед Всевышним!» Но Ибрагим боялся не этого, ведь он давно творил намаз и соблюдал уразу наравне со взрослыми. Он больше робел перед обрядом балиг-туылу², когда о его постыдном излиянии узнают во всей округе.

Абдуллина Нелли Ильдаровна — преподаватель, переводчик. Родилась в Уфе. Окончила МГЛУ. Печаталась под псевдонимом в сборниках и альманахах издательства Эксмо.

¹ Хиджра — переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину, с которого начинается отсчет лет по исламскому календарю.

² Балиг-туылу — праздник совершеннолетия, отмечающийся в широком кругу родственников и друзей семьи по достижении мальчиком половой зрелости.

Тьму уже заволокло предрассветной серостью. Посыпанные сумеречной известкой, проступили очертания сарая, конюшен. Горб Нарыстау стал заметен на фоне светлеющего неба. Жеребцы учуяли Ибрагима, нетерпеливо зафырчали, когда он проходил мимо.

Ибрагим закрыл дверь на крючок. Даже в остывшей, в бане сладко пахло смоляным жаром. Он кинул на лавку чистые шаровары, рывком отодрал прилипшую к бедру штанину и щедро налил воды в ритуальную чашу, чтобы совершить требуемый гусуль — полное омовение.

Докрасна растираясь мочалом, Ибрагим вспоминал свой сон. А вдруг он окажется вещим? Ведь братья получили по иноходцу на совершеннолетие. Ему, главному наследнику, должен достаться лучший конь. Время подходящее, осень. Кумысный сезон позади, снег уляжется нескоро. Выпас легкий, и самая воля — скакать от холма к холму. Он размечтался, как прижмет к шее Кара-юрги и длинная грива — цвета и запаха дегтя — будет хлестать его по лицу. Может, и правда, признаться, высидеть унижительный обряд, зато получить иноходца?

Пена уже свернулась на его коже липкой пленкой, он потянулся к чаше ополоснуться и не удержал. Та выскользнула из мыльных рук, с грохотом обрушилась на пол, окатив водой стены, со скамьи полетели ковши и кумганы¹. Батрак Касым, дежуривший в эту ночь на конюшнях, прибежал на шум.

— Кто там балует? А ну! — испуганно пригрозил он.

— Я это, ступай! — приказал Ибрагим. Но Касым не уходил, прислушивался.

— Куда это ты намываешься ни свет ни заря? Никак гусуль творишь? — спросил он наконец.

— К утреннему намазу, — отрезал Ибрагим.

— Ну, помоги Аллах, — усмехнулся тот.

«Небось побежал отцу докладывать!» — подумал Ибрагим с облегчением и не ошибся.

Когда он вернулся в дом, Фаррах уже восседал во главе ковра, с обжигающей пиалой чая на ладони, и распорядился о праздничной трапезе. В то же утро закололи барана и к нему в придачу пару гусей, чтобы бешбармак гуще наварился. Разбудили печь на дворе, что давно впала в зимнюю спячку, загудел жар в ее глубоких огненных колодцах. Забурлила вода в чугунных казанах. Матери и сестры намесили пять кадок теста. Нахретдина послали за родными и соседями по огню, а за Курбангали-имамом отец отправился сам.

Первыми явились незваные — окрестные бедняки (и здесь не обошлось без Касыма), выстроились вдоль забора, как солдаты на смотр, выставили перед собой площадки для жертвенного угощения.

Ибрагим покорно пил свое унижение. Выдержал язвительный допрос муллы при отце и нескольких хальфа²:

— Не рукоблудствовал ли ты, о юноша? По всем правилам очистился от скверны?

Потом его вывели на крыльцо, и он произнес шахаду — свидетельство о вере — на виду почти у всей деревни. Кто не поместился во дворе, смотрел из-за забора. Глумливые взгляды облепили его, как мухи: «Ну что, малый, запачкал ночью штаны?» А он старательно проговаривал арабские слова и ни разу не запнулся. Голос его не

¹ Кумган — узкогорлый кувшин для омовения.

² Хальфа — младший преподаватель мусульманского учебного заведения, часто хальфами становились старшие студенты.

утратил твердости, даже когда оборванцы, снующие в толпе, стали выкрикивать оскорбительные ругательства.

Во время трапезы по обычаю Ибрагим должен был подавать гостям. И тут ему некуда было спрятаться от строгих глаз и наставлений. Он обходил и кротко выслушивал каждого, кланяясь, благодаря. От напряжения и стыда он потел. Хворая влага собиралась в теле. Но он терпел до самого вечера, чтобы получить награду свою.

Когда все разошлись, Фаррах подозвал его к себе, достал из сундука молитвенный коврик из зеленого бархата, расшитый золотыми нитями, с атласными кисточками по углам. По его кромке шел узор, составленный из двух родовых знаков — из тамги отца в форме двух ребер, и матери — в виде дербника — сокола, распахнувшего в полете крылья.

— В Уфе заказал, для тебя. Вот и настало время! — отец сиял, как начищенная бронза. — Каков птенец в гнезде — таков и в полете. Будешь меня слушать, в меня пойдешь.

— И все? — вырвалось у Ибрагима — сдавленно и тонко.

— Ты не доволен? — лицо отца переменилось.

Не в силах больше крепиться, Ибрагим зарыдал:

— Отец, я только тебя и слушаю! Тебе одному служу! Но как я пойду в тебя, если у меня нет своего иноходца! И Арслану, и Нахретдину подарил ты по скакуну на балиг-туылу! А я так и останусь на побегушках — малай-принеси-подай?

Фаррах засмеялся:

— Что ты такое говоришь! Ты последний мой сын и навсегда останешься со мною, и все мое — твое!

Но Ибрагим этим не успокоился. До самого сна он следил в щелочку загородки, как младшая мать мыла в тазу пиалы: если Всевышний даст ей сына, не быть ему главным наследником. Тело его совсем отяжелело и размякло от ревности, как невыжатое полотенце.

Среди ночи Ибрагим встал по нужде. На дворе морозило всю — так прихватывает перед первым снегопадом. Он хрупал калошами по заиндевелой траве, и этот хруст царапал гладкую предзимнюю тишину.

Спросонья он совсем забыл о пережитом дне, будто тот вернулся в утробу ночи и вот-вот родится опять. Спит в хлеву воскресший ягненок, которому снова суждено стать жертвой для праздничной трапезы. Еще не запала в душу Ибрагима обида на отца. Не произнес он клятву покорности и пребывает в тени от Всевышнего — не безвинное дитя, не правоверный мусульманин, а так — неклеяменный иноходец на распутье.

Смурная сырость в теле, которую Ибрагим надеялся выспать, усилилась. Дрожь пробиралась по всему телу, холодно шекотала за шиворотом. Не было сил идти через огород до бани, у которой стоял крепко сколоченный нужник. Ибрагим притулился за сараем. Струя зашипела и, скворча, ушла в землю, запахло вареным рисом и уксусом. Всполошились куры, мелко заскрипели.

Ибрагим, упоенно выдохнув, запрокинул голову. И увидел небо.

Бескрайнее черное полотно стелилось над ним. Оно было издырявлено, будто исклевано птицами. Сквозь эти прорехи лился свет, переливчато-белый, строгий. Печной дымок устремлялся к нему, но не мог зачерпнуть ни капли бездонного блеска и таял, тщетно распластав ладони.

Ибрагим стоял, стараясь тише выпускать пар изо рта. Он догадался: это вовсе не свет — это Бог смотрит на мир, и невыносимо лучезарный лик Его просачивается сквозь ветхое сукно небес.

Под этим взглядом Ибрагим стал яснее чувствовать, — будто раньше он дремал наяву. Будто вся его жизнь состояла лишь из мутных отражений мира: сизых холмов на горизонте, едкого запаха конюшен, степного ветра. А теперь взглядом Всевышнего он оказался оторван от этого мира — сотворен. Отныне он — был.

И тут понял Ибрагим, что наг и уязвим, до самой низости своей. Что по закону ему нельзя мочиться стоя. Что он повернулся как раз в ту сторону, куда надлежит направлять поясной поклон во время намаза. Медный голос Нахретдина отчеканил в его голове: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, запретил нам мочиться стоя, обращаться лицом в сторону киблы¹ во время испражнения, подмываться правой рукой».

Ибрагим поспешно затянул веревку шаровар и прошептал:

— Гуфранак! Прости, Аллах! — так велено говорить после справления нужды.

Но поздно. Он совершил первый проступок. Совершил случайно, ненароком. Значит, способность к греху жила и распорядилась им, как только он отделился от мира и сам стал отвечать за себя. И даже если он будет потом строго следить за каждым своим шагом, ничто не оградит его от новой невольной ошибки.

Он обречен. Его склонность к пороку неизбежна, как неизбежна смерть в наказание за грех. И никаким хадисом уже не исправить то, что случилось. Правверная жизнь Ибрагима кончилась, едва начавшись.

— Все. Погубил я себя.

Ибрагим взмолился:

— О Аллах, убей меня сейчас! Для чего жить дальше?

Он невольно сжался, опустил голову, зажмурился, ожидая удара с неба. И ничего не произошло.

— Что Ты медлишь? — вскричал он. — Зачем откладывать казнь? Можно ли что прибавить к смерти?

Все так же тих, холоден и отстранен был свет Всевышнего. Бог продолжал смотреть на него с покоем и безразличием.

— Это я, Ибрагим, — напомнил он, жадно вглядываясь в небо. — Ты назвал меня, Ты создал меня. Почему же Ты молчишь?

Никаким знаком не ответил Всевышний на его вопрос. Ибрагим схватился за голову и заскреб пальцами по свежесвыбритому затылку. Одно подозрение хуже другого одолевало его:

— Неужели Тебе все равно, что я нарушил святые аяты у Тебя на глазах? Зачем же Ты дал их мне?

Ибрагим не мог стоять на месте, казалось, стылая почва под ним была ненадежна, как зыбучие пески. Он прошелся быстрым шагом от сарая до конюшен и обратно.

— Если я сделаю что похуже, и тогда не накажешь меня?

Ибрагиму нужно было сейчас же, немедленно опровергнуть сомнения — как угодно, даже ценой жизни. Словно он ввязался в чужой древний спор, и от него одного зависело, устоит или не устоит этот мир.

¹ Кибла — направление в сторону священной Каабы в Мекке.

Пусть это было во сто крат хуже, чем кинуться с утеса в озеро с жерновом на шее — он не мог ждать. Поспешно, чтобы не передумать, Ибрагим подбежал к столбу, на котором висел конский череп, оберегавший загоны с лошадьми от злых духов. Опустился перед ним на колени и, не придумав ничего другого, зашептал слова ночной молитвы истукану — вместо Аллаха.

Совершил самый тяжкий грех — и надеялся, что уж теперь небеса прольются серным дождем, разъедая его кожу, что земля разверзнется, чтобы пожрать его кости. Но ничего этого не случилось, даже язык не отсох.

— Покарай же меня! Или брезгуешь рабом Своим, как свиньей?

Он сел на черствую землю и заплакал. Богу не нужны были ни его праведность, ни его грех, ни его душа. Может быть, перед Его вечным ликом он уже был мертв или вовсе не существовал!

Ибрагим вскочил, снова уперся взглядом в небо и крикнул:

— Вот я как есть, творение Твое, и волен Ты делать со мной все: хочешь — благослови, хочешь — прокляни, но я прямо смотрю на Тебя.

Он весь трясся в ознобе.

— Для чего Ты, безгрешный, дал мне душу, способную грешить?

Губы немели:

— Для чего обрёл мою жизнь на смерть?

Осипший голос со скрежетом скользил вверх и вниз:

— Для чего создал меня, если я не нужен Тебе?

Язык заплетался, едва успевая за дерзкими словами:

— Почему ты не говоришь? Разве даже ответа от Тебя... — ему не хватило вдоха, чтобы закончить: «я не достоин?»

Уставились два человеческих глаза в многотысячные глаза Творца — упрямо, не смыкая век. Так началась их долгая борьба. Их страшный путь друг ко другу. Недаром Шавваль зовется месяцем кочевий, когда надлежит отправляться в дорогу.

Нечестивый брат (ноябрь 1907)

Все началось с того, как Фаррах стал брать Нахретдина с собой в пятничную мечеть. Проповеди Курбангали-имама про конец света подпалили ум мальчика.

— Лица грешников будут черны как смоль. Подобно тому, как полночная тень покрывает землю, так лица их покроет тьма, — гремел имам. Нахретдин проводил пальцами по щекам, будто мог наощупь удостовериться, что его кожа все еще светла. Потом на конной ярмарке он купит себе крохотное зеркальце, положит в льняной мешочек под рубахой и будет смотреться в него в минуты страха.

— Для безбожников уготовано неугасимое пламя. Искры от него превосходят размером верблюдов. Оно огромно, как шатер великанов, но тесно, как птичья клетка. — К этой части проповеди голос имама, надломленный криком, окончательно превращался в хрип. А сердце Нахретдина сжималось, будто в огненной ловушке.

Курбангали-имам говорил, что единственный спасительный путь в рай лежал через мост Сират, тонкий как волос и острый как меч. Удержаться на нем можно только опираясь на пять неизменных столпов: шахаду — свидетельство верности Всевышнему и Его Пророку, намаз — пятикратную молитву, уразу — пост в священный месяц Рамадан, закят — налог в пользу бедных мусульман, — и хадж —

паломничество в Мекку. Исполнять эти пять требований необходимо в состоянии тахарата — чистоты тела, поступков и помыслов. Без нее любой намаз, пост и паломничество будут напрасны, все равно что не исполнены.

Нахретдин неистово соблюдал тахарат. Он мылся по десять раз на дню, непрестанно проговаривал про себя молитвы, чтобы ни одна греховная мысль не проскочила. И украдкой гляделся в зеркальце.

На беду, осквернение таилось даже в безобидных вещах. Сколько он ни берегся — совершал неожиданные промахи. Все осложнялось тем, что ни отец, ни хальфы, ни сам Курбангали-имам не могли дать ему полный список спасительных заповедей. Заезжие учителя и странствующие дервиши сообщали всё новые правила, противореча друг другу. Даже для такого простого дела, как отправление малой нужды, не было единого предписания. Одни говорили, что подмывание нечистых частей тела водой — истинджу — можно иногда заменять истиджмаром — подтираться песком или сеном, как делали во времена Пророка. Другие считали это допустимым в пустыне, но не в демских краях, где вода повсюду — бери ее сколько угодно. Потому Нахретдин решил сделаться законоведом — факихом, чтобы самому усвоить все заповеди и в точности знать, что можно, а чего нельзя.

Краткий покой он испытывал только во время молитвы: перед началом ракаата¹ его душу переполнял священный жар. Как растопленное золото, он вытекал изо рта и звоном застывал в воздухе. Тогда Нахретдин чувствовал почти счастье.

В одну из таких минут его услышал мулла Яны-Яппаровской мечети Сафуан Якшигулов, герой Порт-Артура, приехавший погостить в родное Ильсегулово. Принимая у себя бывшего соседа, Фаррах нарочно попросил Нахретдина прочесть дуа² перед трапезой. Ему захотелось похвастаться перед гостем: «Пусть знает, что и мы не так просты, с арбы не стряхнешь!»

Сафуана-хазрета растрогало пение Нахретдина. Он удивился, откуда у этого мальчика из захолустья такое чистое арабское произношение, такая сила смирения в голосе. Якшигулов уговорил Фарраха отдать сына ему в ученики: мол, в большом хозяйстве нужен хоть один хорошо образованный человек, а у Нахретдина большие задатки.

Так Нахретдин, ни о чем не подозревая, целиком переменял свою судьбу. С того дня ему больше не было суждено наследовать делу отца, но и слава почтенного законоведа, какую он рисовал в своих мечтах, его тоже не ждала.

Вся беда заключалась в том, что Сафуан-хазрет, мулла из уважаемого рода и участник русско-японской войны, оказался одним из джаидов, новых учителей, которые насаждали в своих мечетях дерзкие порядки и смущали народ. Попав к нему, Нахретдин угодил в водоворот, что закружился задолго до его рождения и грозил унести его совсем не туда, куда тому бы хотелось.

Вместе с будущим Нахретдина изменилось и его прошлое. Адам, Идрис и Нух уже не возглавляли его шежере. Отныне первым в его родословной было имя просветителя Курсави. К концу восемнадцатого столетия, когда родился богослов, исламский мир Средней Азии, Поволжья и Урала крепко увяз в схоластическом болоте, как Европа позднего Средневековья. Золотой век Арабского халифата с открытиями в математике, астрономии и медицине остался в далеком прошлом. Ученым и философам отводился только душный закуток тафсира — толкований Корана, и даже в нем не позволялось

¹ Ракаат — порядок слов и действий, составляющих молитву.

² Дуа — обращение к Аллаху, молитва, которая совершается помимо намаза в любое время.

выходить за рамки средневековых учений. А суды шариата в мракобесии едва ли уступали инквизиции. И вдруг некий татарский богослов-выскочка, объявившийся в Бухаре, позволил себе открыто провозглашать право каждого самому познавать божественный закон и природу. Его учение наделало много шума в Туркестане. Подобно Галилею, Курсави под страхом казни отказался от своих убеждений. Его сочинения были преданы огню, а имя — анафеме: эмир Хайдар издал фетву¹, по которой высказывания Курсави объявлялись вероотступническими. Но трещина раскола уже побежала по ветхой стене мусульманской ортодоксии, и к началу двадцатого века выросла в исламскую реформацию.

Исмаил Гаспринский — второй человек, который переписал судьбу Нахретдина и еще тысяч юношей, рожденных на рубеже веков. Его имя значило для мусульман России то же, что имя Лютера для христиан Европы. Если немецкий реформатор рано избрал духовное поприще и шел по нему путем откровения, то Гаспринский, сын татарского дворянина, служившего военным переводчиком у князя Воронцова, грезил о карьере офицера, на худой конец — чиновника. Дорогу к цели он прокладывал через ведущие учебные заведения — второй Московский кадетский корпус, потом Парижскую Сорбонну. В Москве Исмаил-бей сблизился со славянофилом Михаилом Катковым. Общение с кружком панславистов своеобразно на него повлияло: от татарского национализма Гаспринский перешел к проекту тюркско-славянского союза в противовес Европе и Китаю. Вернувшись в родной Крым, он основал газету «Тарджиман», где развивал свои идеи и надеялся этим послужить своему народу.

Все же не столько эта газета принесла ему славу величайшего исламского реформатора от Поволжья до Туркестана и Персии. Как и Лютер, он сделал главный священный текст своей религии доступным для верующих. При этом он не мог просто перевести его на национальные языки, подобно европейским протестантам. Коран для мусульман — не просто богодухновенный текст, а прямое высказывание Всевышнего, только его оригинал годится для богослужений и молитвы. Гаспринский решил задачу, придумав новый метод обучения арабской грамоте — усул-и джадид. Отсюда пошло прозвище исламских реформаторов — джадида.

Старый метод был неудобен и тяжел. Учеба по нему длилась долго и ничего не давала. В головах выпускников оставалась мешанина из отдельных догматов, предписаний и запретов, поэтому им казалось надежнее полагаться на местные придания и обычаи.

По новому методу ученики осваивали правила чтения за полтора месяца и сразу приступали к Корану и Сунне. Помимо арабского в новометодных медресе тщательно преподавались основы вероучения, фикх, философия, логика и история ислама. Джадида сами составляли многие пособия — сжато, понятно, не отвлекаясь от задач предмета. Шакирды прогрессивных медресе разбирались в богословских вопросах куда лучше старых мулл.

Как лидеры Реформации мечтали о чистоте раннего христианства, так и джадида хотели вернуться к вере времен Пророка. Но по сути ни одно из этих движений не было возвратом, а шагом вперед. Протестанты провозгласили гуманистические ценности и сформировали новое общество буржуа, и джадида внесли в ислам либеральные принципы и создали новую среду — городских служащих. Не зря они ввели в своих

¹ Фетва — решение, предписание по религиозно-правовому вопросу, выносимое авторитетным мусульманским деятелем.

медресе и светские дисциплины — родной и русский языки, математику, историю, географию, химию, физику. Оттого мусульманские промышленники и купцы охотно жертвовали капиталы на новые медресе — им были нужны образованные работники.

Успех джадидов был быстрым и ошеломительным. Новометодные начальные школы — мектебы и старшие — медресе распространились по губерниям, где жили мусульмане, открылись даже отдельные школы для девочек. К началу века крестьяне магометанского вероисповедания по числу грамотных, в том числе женщин, превзошли православных.

Консервативные муллы и шариатские судьи утратили авторитет и потому объявили новое учение опасной ересью. Они убеждали имперские власти укротить молодых выскочек, обвиняя их в пантюркистских чаяниях и намекая на угрозу государственному строю. Так началась борьба кадимистов — сторонников старых порядков — с джадидами, не столь кровавая, как между католиками и гугенотами, но не менее драматичная.

До поры Нахретдину не было до нее никакого дела — он с жадностью усваивал все, чему его учил Сафуан-хазрет, ни слова не ставя под сомнение. Жизнь в медресе давалась Нахретдину легче, чем в отцовском доме. Тут он не должен был ежечасно остерегаться нечистоты, как на конюшнях. В медресе все было свято, за что ни возьмись: книги, образцы каллиграфии, белые перья и белые листы бумаги.

А вот к требованиям хазрета он долго не мог привыкнуть. Мударрис был непостижимым человеком. Обо всем рассуждал уклончиво, не делил людей на добродетельных и порочных. На схожие проступки отвечал по-разному, не применял телесных наказаний, ко всем шакирдам относился сердечно, что казалось проявлением слабости. Нахретдин не понимал его увлечения литературой, несерьезного для такого улема¹. Но его знания фикха были так глубоки и кристальны, что Нахретдин прощал литературные странности.

Так прошло три года, а Нахретдин, как ни старался, не успел узнать всего о законе Всевышнего. Он окончил средний класс медресе с твердым намерением продолжить учебу в игдадии — переходном классе перед высшим курсом, не доставало только согласия отца. Вместо доводов Нахретдин вез домой похвальную грамоту и подарок за отличную учебу — в тоненькой зеленой книжке поэму прославленного Мажита Гафури «Сибирская железная дорога».

Но когда он вернулся, надежды на игдадию померкли. Нахретдин и раньше приезжал к своим на каникулы, но будто был не дома, а гостил — его баловали праздничными кушаньями, щадили сон, водили по соседям похвалиться и берегли от работы. На этот раз отец чуть не с порога выделил ему свой круг обязанностей — не меньше, чем у Арслана.

Лишь теперь Нахретдин заметил, как все изменилось за время его учебы в медресе. Родные совсем увязли в ненасытном хозяйстве и забыли повеления Всевышнего. Намаз творили впопыхах, не достигнув душой умиротворенного нията² — лишь бы поскорее заняться своими заботами. Порой пропускали черед, восполняя полуденный и послеобеденный намаз во время вечерней молитвы. Весь день проводили в работе, чтобы вечером насытиться от трудов, а большую часть запастись впрок и отойти в пустой сон.

¹ Улем — авторитетный знаток шариата, в противопоставление философам и мистико-поэтическим толкователям ислама.

² Ният — намерение, осознанность — одно из условий для правильного совершения намаза.

От тягловой жизни отец совсем загрубел и больше походил на простого мужика, какие привозили в медресе соленых гусей или муку в уплату за обучение своих сыновей, а вовсе не на потомка башкирских тарханов. С горечью Нахретдин смотрел и на старшую мать: Алмабика потускнела, осуетилась. Все чаще она обращалась к духам огня и воды, вместо того чтобы положиться на Аллаха. Хуже того — отец не воспрещал ей.

Даже Курбангали-имам потворствовал суевериям. Тем же балиг-туылу — надо же было ему опуститься до того, чтобы объединить шахаду с поганым обрядом. К тому же всем было известно, что сыну мусульманина не нужно произносить шахаду — он рожден правоверным. Видимо, ум муллы совсем заплыл жиром, и он сам позабыл священные аяты¹. Нахретдина передергивало всякий раз, когда старик своим харкающим говором коверкал арабские слова или произносил долгие фразы, упуская сказуемое.

Больше всего Нахретдин негодовал на младшего брата. Ибрагим превратился в исчадие пороков, в которых прозябала деревня. Необузданный, избалованный, он вздумал стяжать славу батыра из бурзянских сказок, а не благочестивого мусульманина. И такому человеку суждено было стать хозяином отцовых табунов и угодий!

Но во всем, что вдруг открылось Нахретдину, не было ничего нового. Всегда от летних работ зависело, как перезимуют люди и скот. Оттого эту пору соблюдали наравне с рамаданом — в суровом посвящении. И старики молили Всевышнего отложить их смерть до конца сезона, чтобы не тревожить семью лишними хлопотами.

Курбангали-имам твердил единственное, что помнил из курса медресе, — строки про Ахир-заман, конец света, и заповеди о грехах, вбитые в его голову крепкими подзатыльниками. Но этих знаний было достаточно, чтобы получать обильный стол: на проповеди о каре Всевышнего быстрее отзывались сердца и раскрывались кошельки прихожан. К тому же в Ильсегулово рядом с иликей-минскими вотчинниками жили непокорные бурзяне-припущенники². Те упрямо соблюдали свои древние обычаи. У Курбангали-имама не было ни власти, ни желания противиться им. Потому он, как и многие муллы в башкирских аулах, придал языческим обрядам исламский смысл — к обоюдному довольству: чем больше праздников, тем больше поводов для щедрых подаваний.

Деревенская жизнь шла своим чередом. Изменился он один и уже не мог жить по-прежнему.

Потихоньку подступала зима. Про золотую грамоту, висевшую на стене отцовской половины, все давно забыли. С лета Фаррах ни разу не обмолвился о медресе. Нахретдин из последних сил старался не нарушить учтивости и не спрашивал отца о переходном классе.

На другой день после балиг-туылу, когда Фаррах подозвал его к себе и велел чистить денники иноходцев, что всегда было работой Ибрагима, Нахретдин не выдержал:

— Для того ли я учился, чтобы драить стойла за младшего брата? Уж семестр начался, а я все вожусь в нечистоте, словно какой-нибудь батрак из иноверцев.

¹ Аят — стих Корана.

² Припущенники — представители группы населения Башкирии, состоявшие из безземельных башкир, татар, чувашей, мари и других народностей, которые переселялись на землю коренных владельцев.

Фаррах так посмотрел на Нахретдина, что его язык припекся к нёбу.

— Продолжай, — потребовал он.

— Отец, умоляю, не гневайтесь. Но ведь все это Ибрагиму достанется, хоть ему и дела нет. А я-то чем проживу, не кончив курса? Хватит ли моего выдела, чтобы прокормиться?

Отец медленно огладил бороду — у него это было первым признаком ярости.

— Про выдел ты верно подметил, — сказал он с мягкой злобой. — На него тебе нечего рассчитывать. Рассуди же сам, коли дорос судить.

— Я не... — запальчиво начал Нахретдин и отступил на шаг.

— В том году снова была межевая комиссия, — продолжил Фаррах, не пуская Нахретдина говорить. — Отрезали все дальнейшее кочевье. И прежде нельзя было удержать кумысное дело в одиночку, теперь тем более. Вам придется трудиться втроем на общей земле. Иначе с каких выпасов станете кормить свои табуны порознь? Земли и теперь не хватает: часть сена на зиму покупать приходится. Где это видано — сено покупать?! А ежели ты еще три года проучишься, совсем отстанешь от хозяйства, тогда братья тебя и в батраки не возьмут!

Нахретдин чувствовал, что самое время просить прощения и приниматься за работу, но что-то несло его вперед — огненным колесом с горы:

— К Ибрагиму я в батраки не наймусь. Плата из его шальных рук даже для закята¹ не годится — не примет Всевышний такую грязную жертву, разве в землю ее закопать. У него одна скверна на уме. Ни Аллаху он не предан, ни собственному дому. Добром это не кончится.

Фаррах был так потрясен дерзостью сына, что забыл про гнев, и Нахретдин говорил, покуда ему хватало обиды. Изложив все доводы по догматике, какие знал, он стал рассказывать про Ахир-заман. Про глас трубы Суур, от которого падут горы, истребятся звери и мертвые птицы дождем осыпятся с небес, про непреодолимый мост Сират и весы Мизан, где будут взвешены все грехи и добродетели человека. Отец слушал-слушал, теребя бороду, и вдруг усмехнулся:

— Зачем тебе учиться дальше? Ты и так готовый Курбангали-имам!

Нахретдин воскликнул:

— Как можно над этим... — и захлебнулся. Качая головой, он пошел прочь с отцовской половины.

— Берегись, сын! — сказал ему вслед Фаррах. — Судьба смеется над тем, кто не умеет смеяться над собой.

Но Нахретдин не слышал его. Он хотел поскорее добраться до Ибрагима и призвать его, наконец, к ответу. С криком «А ну, вставай!» Нахретдин распахнул загородку и отпрянул. Ибрагим не спал, он стоял, вытянув вперед руки, шаря ими перед собой. Его глаза заволокло мерзкой серой пленкой. Он подался вперед на голос Нахретдина и позвал:

— Брат, помоги! Я не вижу! Ничего не вижу!

¹ Закят — один из столпов ислама, обязательный налог с доходов и имущества в пользу нуждающихся единоверцев.

Демон Юха (декабрь 1902 года)

«Свет очей моих! С того дня, как мы расстались, я не вижу солнца. Чем дальше живу, тем меньше верю, что тьма когда-нибудь рассеется. Не было часа, чтобы я не горевала о тебе, родной мой! Говорят, коростель свою смерть сама кличет. Так и я на все беды сама напросилась. Вине моей нет прощения. Оправдания я не ишу, но хочу, чтобы ты знал, как все вышло.

Если б только найти, с чего начать. Одно тянется за другим, как бусины в четках, — до самого детства. О нем ли сперва рассказать тебе, мой милый?

Родилась я в семье бурзянского бортевика¹ Бахтигарея Давлеткулова. Верно, до сих пор в сакмарском лесу встречаются охотники деревья с нашим родовым знаком — тамгой в виде летящего дербника.

Две матери было у меня: Ханифа и Зюбейда. Какая из них доводилась мне кровной — не знаю. С виду их не различить: на лицо похожие, ровесницы, платья одинаковые, из одного отреза сшитые. Сами они отделяли только сыновей, а дочери были им все равно что чужие — не для своего, для мужнего хозяйства растут.

Жили мы в достатке. Бортей у отца было много. До самого Троицка славился давлеткуловский мед, его ценили дороже пасечного. Отец мой, как и я, был младшим ребенком, потому взял за себя хозяйство деда, когда тот отошел от него по старости. И лошадьми владел, и другим скотом. Словом, не переводились в нашем доме молоко и мед.

Моя деревня звалась Исяново. Старый сэсэн² Юлдаш говорил: давным-давно основал ее батыр Исян из Янсары. Его аул сожгли дотла вместе со стариками, женами и малолетними детьми за то, что наш род восстал против злой императрицы Лисаветы. Место прежней деревни нам Юлдаш указывал и приметку ее поведал: "Коли раздастся на пустыре тонкий детский плач — быть беде". Но лишь Юлдаш забредал туда по прихоти своей одинокой души, а мы на ту угрюмую сторону не захаживали.

Само Исяново росло на приятном пологом берегу Талкаса. Ох, видел бы ты, что за великан-озеро наш Талкас! Только с морем ему равняться. Одним взглядом не охватишь, а вода синяя, будто из неба вычерпана.

Легка и привольна была бы моя жизнь в том краю, родись я мальчиком. Достались бы мне и лошади, и борти, и свобода. Но кроме сундука для приданого, ничего в доме мне не принадлежало. Была я с младенчества просватана за рябого Сяитбая, сына богача Янмурзы из соседней деревни, ему отец поручился передать меня, как минует мне пятнадцать.

До поры я не думала про жениха. Я не была прилежна, как сестры, что улучали каждую минуту для шитья и наполняли понемногу свои свадебные сундуки. Зато не отставала от братьев по шалости: лазила до бортей, вела коня галопом — не хуже своего погодки Кагармана.

Отец не бранил меня. Смеясь, говорил, будто я похожа на богатыря-девицу Барсынхылу, что поборол сватавшихся к ней батыров. Но матери точили его:

¹ Бортевик — человек, занимающийся бортевым пчеловодством — старейшим промыслом меда, при котором пчелы живут в дуплах деревьев — бортях.

² Сэсэн — народный сказитель и поэт, весьма почитаемый в башкирской среде. Конфликт между башкирскими родами часто разрешался состязанием сэсэнов — победа поэта означала победу его рода.

— Смотри, дохвалишься, и вправду жениха отвадишь!

С пяти лет матери приучали меня к работам, а я сбегала к мальчишкам. Тогда придумали другое средство укротить мой нрав: приставили смотреть за бабушкой, олэсэй, — старшей женой деда. Она перешла ему по левирату¹ от покойного брата, единственная из четырех дедовых жен дожила до старости и оставалась при нем, как порча.

Однажды рассказал мне Кагарман, что олэсэй вовсе не человек, а демон Юха, который обернулся женщиной. Выпила она кровь из первого мужа, потом из второго и так добралась до младшего брата. Да дед наш оказался крепок, пришлось ей довольствоваться тремя его молодыми женами. Кагарман подсмотрел, как ночью олэсэй сбрасывает тонкую человеческую кожу и ползет к стоячей заводи Талкаса — утолить жажду болотной водой.

Рядом с олэсэй мне жилось душно и мрачно, будто в погребе. То ли ее нары были в самом темном углу женской половины, то ли при ней меркли лучи солнца. Гулять она не любила, и обычно дальше бани не ступала. Дни напролет сидела на перине и требовала, чтобы я носила ей сладости и развлекала песнями. Необъятный живот уходил у нее за спину, маленькие ручки сложены на широком уступе груди, пухлое лицо запрокинуто. Вокруг нее вился гнилой дух — сколько ни мой ее, не выгонишь тухлый пот из бесчисленных складок. Говорила она двумя разными голосами: один — обыкновенный старушечий, визгливый, а второй — низкий, загробный, как глухое гудение выпи.

Как же я боялась ее! Ходила с оглядкой: вдруг она за моей спиной обернется демоном. Переодевала и мыла, зажмурившись, чтобы не увидеть блеск чешуи сквозь кожу или жабры под мышками. Каждую ее прихоть исполняла, не мешкая. Но угодить ей было нельзя, хоть пол косами мети.

— Постой, дрянная девчонка! — грозилась она, и ее грудь басовито ухала. — Недолго тебе баловать, в мужнем доме света белого не взвидишь.

Так страшны были ее рассказы о замужестве, что я не надеялась найти в нем избавление. Олэсэй была лишь демоном-привратником у той пещеры, где сгинет всякая невеста. Там я буду совсем одна — без братьев и отца, никто не защитит меня от лютой власти мужа. Единственный исход — могила.

Год за годом изводила меня олэсэй. Я худела и чахла, будто и вправду она меня обескровила.

Что бы случилось со мной, если бы не Фатанат-ханум? Это имя я храню в сердце рядом с твоим. Она сделала для меня больше отца и обеих матерей. Фатанат-ханум была женой указного муллы, назначенного к нам из Троицка вместо покойного Мухамедьяр-хазрета. Лет семь мне было, когда они приехали.

В то осеннее утро вся деревня от старейшин до мальчишек отправилась к мечети выведать, каков собой новый мулла, тощ или упитан, суров или податлив, ну и самим показаться. Женщинам не терпелось хоть издали примериться к абыстай²: утвердится ли она среди наших почтенных старух, заведет ли свои порядки на женских посиделках, куда направит девичье воспитание.

Кажется, в Исяново опустели все дворы, только я и олэсэй остались дома. Я ждала, что матери и сестры перескажут мне все. Но они вернулись недовольные, надутые, словом со мной не перекинулись.

¹ Левират — брачный обычай, по которому вдова была обязана вступить в брак с младшим братом умершего мужа.

² Абыстай — жена муллы.

После закатного намаза отец вдруг вызвался поить олэсэй чаем. Затевався важный разговор. Я спряталась за занавеску. Сперва отец говорил о скучном: что новый мулла не по годам мудр и хорошо обучен закону — недаром окончил медресе знаменитого Зайнуллы-ишана бин Расул. Сказал, что старейшины приняли муллу. А потом я ушам не поверила: абыстай открывает при мектебе класс для девочек, и отец желает послать меня учиться. Сердце мое затрепыхалось рыбой на мелководье — возможно ли это? Но тут загудел демон Юха — олэсэй напустилась на отца:

— К чему девочке учиться? Лучшая грамота женщины — покорность мужу!

Хоть бы раз ответил ей отец, как матерям: «Угомонитесь! Как сказал, так и будет!» Но он промолчал.

Лучше б мне вовсе не знать про абыстай, чем понадеяться напрасно. Густая горечь, вроде ржаного мякиша, застряла у меня в глотке и росла, росла. Ночью совсем прижало: ни сглотнуть, ни вздохнуть глубоко. Задремала я только к рассветной молитве, когда олэсэй стала тыкать меня в бок своим железным пальцем:

— Вставай, Сурур, неси мне кумган умываться!

Как успела она проснуться раньше меня? Пока я согрела воды, олэсэй разъярилась и давай меня ругать. А комок так и сидит в моем горле, так и набухает.

— А ну скорей, чего возишься? Проклянет тебя муж за лень! — басыла олэсэй и брызгала на меня ядовитой слюной, пока я ее подмывала.

И тут комок в горле лопнул:

— Ах так! — я швырнула кумган в сторону, взялась обеими руками за ушат с водой и окатила олэсэй с головы до ног — и ее жиром смазанную голову, и тело в парчовом халате, даже на подушки попало.

Бросила пустую кадку, сорвала с жерди камзол и платок, надела ката¹ и убежала из избы. Бегу за сараями, за огородами. Бегу и думаю: куда бегу? Что теперь? После такого мне не то что учебы — жизни не будет.

И все же я бежала напрямиком к абыстай. Само это слово всегда звучало строго и по-стариковски: властный голос, гневные морщины над переносицей, два длинных седых волоса, торчащие из бородавки под носом, — такой была жена прежнего муллы. А какой окажется нынешняя? Смогу ли я найти в ней защиту?

Я спряталась за дровяником мечети, присела там, пока другие ученицы не покажутся. От холода и тревоги мне приспичило по малой нужде, но у мечети не сходишь — нельзя, и уйти нельзя. Наконец, Манзура, Галиябану, Рауза, Гулькей и еще четыре девочки с другого берега Талкаса пришли со своими братьями. Мальчишек позвали в мектеб, а девочек проводили в дом самого муллы. Когда двор опустел, я прокралась в сени и встала рядом с подругами, будто и меня брат привел. Стою, раскачиваюсь — так легче терпится.

И вдруг выходит к нам Она! Молодая женщина сказочной красоты — как дочь небесного Самрау, дева-птица Хумай, предвестница счастья. Я подумала, не во сне ли все это происходит. Платье у нее татарское — с оборками на рукавах и широкой юбкой, даже слегка зауженное на талии. Плечи покрыты турецкой шалью. На макушке крохотная узорная тубетейка, как фарфоровая чашечка, под легким кружевным платком. Никак не верилось, что абыстай может быть такой.

Она сказала голосом неожиданно сильным и звучным, что величать ее Фатанатханум и она будет учить нас грамоте. Мы поклонились и вошли. Посреди комнаты стояли нары — незастеленные, на длинных ногах, а по обеим сторонам — лавки.

¹ Ката — традиционная башкирская кожаная обувь с суконным или войлочным голенищем.

— Садитесь, — она кивнула на лавки, мы сели у нар и руки на них сложили, как абыстай показала — непривычно, чудно.

По нужде мне хотелось все сильнее. Отпроситься и выйти из избы боюсь, вдруг отец явится к мулле искать меня — найдет и накажет, а тут, при абыстай, он не даст волю гневу.

Я и правда скоро увидела его в окне, он обогнул двор и скрылся за воротами мечети. Я спряталась под большие нары. Сижу, шаровары нагрелись, жар пошел по ногам до щиколоток, сбежал вниз и закапал по доскам. Не утерпела!

Как же мне захотелось умереть в ту самую минуту, не просто умереть — начисто исчезнуть! Сейчас Она все это увидит и мулла, и отец, и мои подруги. Что будет, даже представить нельзя.

Стала я кое-как утирать подолом пол, но налило много. Фатанат-ханум меж тем раздала девочкам книги, в последнюю очередь подошла ко мне. Все. Позор мне, и через меня моей семье и целому роду. Вся округа будет издеваться хуже, чем над прокаженными.

Фатанат-ханум присела рядом. Ни гнева, ни усмешки не было в ее глазах. Они наполнились жалостью. Она скинула свою шаль и укрыла меня.

— Ничего! Ничего! Пойдем, — прошептала и громко добавила. — Откройте книги, девочки, полистайте!

Отвела меня в смежную комнату. Тем временем голос отца стих, в избу к мулле он зайти не решился.

За шаршау на женской половине абыстай усадила меня на перину, достала чистое платье, такое же дивное, что было на ней, из синего атласа, и еще шаровары — невиданного богатства, из сплошного белого ситца.

— С каждым может случиться! Все хорошо, девочка моя. Как тебя зовут?

— Биби Назира Гюльджамиля Сахиб Сурур, — заикаясь выговорила я. — А кличут Сурур.

— Вот, Сурур, держи! — она протянула мне одежду и нежно коснулась моего плеча. — Ничего не бойся, слышишь?

Никто никогда так со мной не говорил. Будто в эту минуту я ступила из темного безвременья в божий свет и начала жить. Она повторила твердо, заглянув в мои глаза:

— Ничего не бойся, Сурур!

Вдохнула я глубже нового воздуха. Небесно-переливчатые складки подаренного платья пахли душицей».

Изгнание духов (ноябрь 1907 года)

Ночь раскрошилась и осыпалась, будто ее вовсе не было. Сладко пыхтела в чугунке пшенная каша, шелкали лепешки в масле, самовар выпускал пряный пар. За загородкой, где спали Арслан с женой, слышался писк младенца и пришептывание старшей матери. Опять Муслима не сумела успокоить свою Шамсию. Младшая мать цокала:

— Долго ли будут на тебе пахать, Алмабика? Пора бы им съезжать и своими силами управляться.

Давно стояла новая изба на выделенном Арслану углу двора. Но Муслима зачала сразу после первой свадьбы на стороне невесты, в Ильсегулово Арслан привез ее уже

тяжелой. Старшая мать оставила ее под своим присмотром, чтобы духи пустого дома не навредили беременности и не вселились в новорожденного.

— Урус кукла матрющка! Брали одну, а из нее вторая вылупилась, — не унималась младшая мать. — Какой прок от девочки! Вскормишь ее, а она чужому хозяйству достанется! В семье и так столько лишних ртов, а батыров — раз-два и обчелся! Никакой не будет Фарраха помощи!

Ибрагим понял, что проспал молитву и опоздал к работе. Он поспешил открыть глаза. Но это простое движение ему не удалось. Так и сяк он старался, напрягал и морщил лоб, но глаза не открывались. Ибрагим потер лицо. Веки крепко прилипли друг к другу, будто спаянные сургучом.

— Ослеп! — прошептал он, вспомнив, наконец, что приключилось с ним вчера. — Что я, безумный, наделал! Что наговорил! Лучше бы срослись мои уста!

Он тут же ударил себя по губам, боясь, что Аллах исполнит и это. На миг он обрадовался: «Все-таки Он покарал меня!» Но потом на него снова нашел страх:

— А если в наказание Он навеки лишил меня глаз?

Ибрагим сел на нарах, в теле совсем не было твердости, словно из него вынули все кости. Оставаться на месте отчего-то было жутко. Он оперся на подушку и опустил босые ноги на жесткий ворс кошмы. Выйти к женщинам в исподнем нельзя. Руки тщетно метались в пустоте, пытаясь нащупать жердь, на которую он вчера бросил верхние шаровары и камзол.

Вдруг женщины у печи переполошились, тяжелые шаги приблизились к нарам Ибрагима.

— А ну, вставай! — крикнул Нахретдин. Ибрагим пошел на его голос, крича:

— Брат, помоги! Я не вижу! Ничего не вижу!

Нахретдин не ответил. Кто-то взял Ибрагима за руку. Повеяло мягким сыром и медом — он узнал запах, которым дышал с рождения, и понял, что рядом старшая мать.

— Аллах запечатал мои глаза! — воскликнул Ибрагим. — Я ослеп.

Алмабика провела пальцами по его векам и сказала:

— Эй, трехлетка-жеребенок ты мой, дунэн-баш! Не возводи на Аллаха напраслину. Вовсе ты не ослеп! То обыкновенная глазная болезнь.

Ибрагиму хотелось поверить ей, но ее утешение, ее объятия остались в недостижимом видимом мире, где еще пребывало тело Ибрагима, а его душа крепко увязала во мраке.

Вошел Фаррах. Нахретдин воскликнул:

— Что я говорил? До чего он докатился, если Всевышний покарал его в первый же день!

Фаррах молчал. Не видя его, Ибрагим догадывался, что отец поглаживает бороду, глаза его сурово глядят из-под тяжелых бровей, бритая голова раскалилась докрасна.

— Сынок, что ты наговариваешь на брата! — сокрушенно лепетала Алмабика, пряча Ибрагима за своей спиной. — За что Всевышнему его наказывать? Ведь от шахады дня не прошло, когда он успел столько нагрешить? Верно, сглаз это. Кто-то из соседей позавидовал.

— Готовьте трапезу, я пойду за муллой, — приказал наконец Фаррах. Ибрагим больше слепоты испугался, что придется рассказать Курбангали-имаму о своем грехе.

Как и вчера, его попарили, начисто омыли, наново обрили голову, обрядили в чистую рубаху, шерстяные шаровары и бархатный камзол. Отвели на отцовскую половину дома. Он поклонился в сторону голосов — вместе с муллой молиться об

исцелении пришли молодые задиристые хальфа из школы при мечети, что обучали Ибрагима затрещинами и издевками. Ему не хотелось показываться перед ними больным, но после бани он разварился, ослаб, и на стыд сил не осталось. Его уложили в центр круга, как жертвенную овцу на Курбан-байрам — оставалось только связать руки-ноги, повернуть на правый бок и рассечь артерию.

Курбангали-имам принялся читать молитвы. Он выбрал самые зловещие аяты — словно не молитву произносил, а приговор. Хальфы вторили имаму осуждающим хором. Начинали фразу шепотом, постепенно распевались в полный голос и завершали резким, как удар, окриком. С самого зачина Ибрагим старался подготовиться к этому окрику, но все равно каждый раз вздрагивал.

— Смотрите! Как он дергается! — кликнул старший хальфа. — Шайтаны в нем забеспокоились! Дрожат!

Хальфы стиснули запястья Ибрагима, прижали к нарам.

— Альхамдулиллах — вся хвала Всевышнему! — завопила тьма. Ибрагим почувствовал над собой приторное дыхание. Следом со всех сторон раздалось харканье, и в лицо Ибрагима полетели плевки.

Обряд совсем не походил на врачевание. Ибрагим решил, что Курбангали-имам проведет о его грехе и покрывает его позором. Сейчас его поднимут, поволокут за деревню, как свинью, бросят в овраг с нечистотами. И поделом! А ведь только вчера он принимал от них поздравления — впервые сидел с ними за трапезой в этой самой комнате. Что же он наделал! Будь у него глаза, он бы заплакал, но оставалось только сухо скулить.

Снова читали и плевали. Ибрагим уже не мог различить слов, мрак обернулся гудящим хором, из которого нельзя выбраться. Кто-то держал его за руки и за ноги и раскачивал над землей, зловонная слюна растекалась по лицу.

— Открой же глаза! — приказал хриплый рык над ним, и его бросили вниз. Он летел, ударяясь плечами, коленями, локтями о камни, пока не оказался на дне оврага. Чьи-то когти оцарапали ему спину, вонзились в веки — не иначе волки терзают его труп.

Он вскрикнул и очнулся весь в поту.

— Видать, большой грех на нем, — сказал Курбангали-имам откуда-то издалека. — Не ходил ли он в заброшенную избу Аткула делать дурное? Может, как раз там вселился в него джинн? Завтра на рассвете поведите его на вершину Нарыстау к могилам святых сахабов — сподвижников Пророка. А после омойте лицо водой из источника Изге Гали — прямо там, у подножия горы.

Отец поблагодарил муллу, велел Нахретдину увести больного и подавать еду. Ибрагим был не в силах встать. Фарраху пришлось его нести и укладывать в постель.

Наутро его, горячего и слабого, подняли и нарядили для паломничества на гору. Одежда горько пахла дымом — Алмабика прокалила ее над очагом, чтобы выкурить духов болезни. Положив подаренный намазлык Ибрагиму под мышку, отец передал его в руки Нахретдина.

Они вышли на двор. И тут темница Ибрагима преобразилась — чернота сменилась красным светом утробы. Ибрагим обрадовался — значит, тьма не всесильна. С воодушевлением он совершил восхождение и молился у могильных камней Зубаира ибн Зайта и Абдуррахмана ибн Зубаира, которые первыми принесли ислам на Урал. Спустились к святому источнику.

Фаррах несколько раз зачерпывал воду, бьющую из-под камней, брызгал на веки, но глаза Ибрагима так и не прозрели.

Сафуан-хазрет (январь 1908 года)

— Но я поймал его с поличным! Правда! — возражал Нахретдин, не замечая, что почти кричит.

— У каждого человека своя правда, а истина у одного Всевышнего. Оставь Ему суд. А мне позволь разобраться в своем медресе, — ответил Сафуан-хазрет и послал Биктимера за Юмагушой.

Нахретдин не покинул кабинета мудира¹, а вернулся на свое место и сделал вид, что работает. От нетерпения он процарапал лист сухим пером, опомнился и обмакнул его в чернила. Он все терял нужную строку и не мог дописать фразы, с тревогой оглядываясь на дверь. Будто с наказанием Юмагуши должны были разрешиться его собственные неприятности, которые тянулись с самого приезда в медресе.

Младшие шакирды встретили его криками: «Бардадым² прикатился! Долгай!» и с гиканьем кинулись врассыпную. Еще никто не смел открыто обзывать его. Нахретдин и правда был долговязым, как все в их роду, выше остальных учеников, отчего казался старше. Двадцатитрехлетний толстяк Кузякбай, сын помещика Биккулова, без толку сидевший в медресе больше десяти лет, и тот смотрелся рядом с ним пузатым ребенком.

Бардадымом его прозвали не только из-за роста. Год назад его впервые избрали старостой медресе — казыем. За дисциплину он взялся ревностно. Везде завел своих наушников и урядников. На какие ухищрения они только ни шли, желая угодить Нахретдину: подливали тухлые яйца в медовуху, припрятанную в подполе среди припасов, мочились на курице, раздобытое шакирдами у русских. Нахретдин попускал их проделки, лишь бы никто не был навеселе по четвергам и не дышал гадким дымом неверных.

Но в этом году все переменялось. На выборах казья ни один шакирд не назвал его имя. Помалкивали даже его приспешники. Все, будто сговорившись, предлагали Кузякбая. И вот толстяка посадили на белую кошму и с трудом подняли четыре самых крепких шакирда, а другие принялись с усердием испытывать нового старосту щипками и затрещинами. Нахретдин не участвовал в церемонии, встал в стороне и не без удовольствия наблюдал, как Кузякбай раскис и взмолился о пощаде.

Дальше хуже. С Нахретдином перестали разговаривать, дразнили самыми грязными прозвищами. Могла быть только одна причина всем его злоключениям: в медресе наверняка прознали про внезапную слепоту Ибрагима в наказание за тяжелый грех, и тень братова позора легла на него. Хотя перед дорогой Нахретдин совершил многократный гусуль, чтобы очиститься от скверны Ибрагима, к которому ему пришлось прикасаться, и прочел дуа, но, видно, дурная весть разносится быстрее, чем долетает до Всевышнего человеческая молитва.

По ехидству судьбы та самая болезнь брата позволила ему вернуться в медресе. Фаррах, напуганный тем, что случилось с Ибрагимом по слову Нахретдина, поверил в пророческий дар сына и поспешил отпустить его от греха подальше. Если бы Нахретдин знал, как его встретят в медресе, он бы не стал торопиться с отъездом, дождался бы, пока слухи улягутся.

¹ Мудир — директор медресе и его главный преподаватель, определяющий учебную программу.

² Бардадым — король треновой масти, верзила, также жердяй.

Днем Нахретдин находил утешение в учебе, но вечера в общей комнате с предавшими его приятелями были невыносимы. Он не мог забыться ни за чтением, ни за повторением выученных аятов. Постылые голоса ежеминутно отвлекали его, в них все время приходилось вслушиваться: вдруг говорят о нем. Нахретдин ненавидел запахи, особенно горький пот Юмагужи — его бывшего поверенного, который до сих пор спал на соседних нарах.

В одну из бессонных ночей Нахретдин услышал, как тот встал, тихо откинул дверцу в подпол, где шакирды хранили еду, привезенную из дома, и спрыгнул вниз. Жевал он сухо, едва различимо, а глотал с зычным стуком — как бывает второпях и по жадности. «Ворует», — догадался Нахретдин. После того как Юмагужа отказался от его покровительства, подкармливать сына нищего кустаря стало некому. На одной похлебке, которую давали шакирдам в обед, далеко не уедешь. Съестное учащимся посылали с оказией из дома. Один Юмагужа не получал ничего. Прежде Нахретдин его подкармливал. Кузякбай же был хоть и богаче, да скупее. Теперь Юмагужа перебивался корками и запивал пустым кипятком.

Нахретдин не пошел с жалобой к казью, как того требовал порядок. Он обратился сразу к Сафуану-хазрету. Увидев Нахретдина в кабинете мудира, взъерошенный Юмагужа замедлил ход и замялся на пороге. Таким же ошипанным воробьем он полтора года назад пришел в медресе — пешком из усерганского аула. Нахретдин первым напоил его чаем и оторвал кусок калача, припрятанного с воскресной ярмарки. Они проговорили весь вечер. Тогда Нахретдин, упиваясь порывом щедрости, принял ее за горячее, как чай, единодушие. Ничего общего не было между ним и Юмагужей, который по дворняжьей привычке служил тому, кто подаст первым.

Вспомнив те минуты, Нахретдин вдруг сжалился: у него никогда не было настоящего друга. Он стал соображать, не поздно ли сейчас поправить дело. Мысленно бросился к двери, закрыл спиной Юмагужу: «Простите, хазрет, я обознался! Мне показалось!» Но его тело продолжало оставаться на месте.

— Бардадым надел красные штаны! — злобно шепнул Юмагужа в его сторону, намекая на донос.

— Посмотрим, что ты после скажешь! — тут же огрызнулся Нахретдин и обрадовался, что усидел.

— Что же ты стал? Входи! — приказал Сафуан-хазрет. Нахретдину мудир велел удалиться.

Он вышел нехотя — боялся, что в его отсутствие Юмагужа как-нибудь выкрутится. Но решение Сафуана-хазрета превзошло даже эти страхи. Вместо того чтобы отчислить Юмагужу из медресе, мудир распорядился отдавать ему часть еды со своего стола.

Нахретдина будто прилюдно выпороли. Несколько дней он ходил отягощенный непомерной ношей гнева. Ему казалось, что на его плечи водрузили мировые весы справедливости, и он усилием воли должен удерживать их в равновесии. Ему стоило большого труда не высказать учителю своего возмущения при свидетелях. Нужно было ждать удобного случая для разговора с мудиром наедине.

Такой час наступил к концу недели после полуденной молитвы и трапезы, когда Нахретдин переписывал книги в кабинете Сафуана-хазрета. Мудир чаще всего поручал эту работу ему: со старыми томами он обращался бережно, внимательно вычитывал текст и почти не допускал ошибок. Потом учитель давал его рукопись как образец каллиграфии другим шакирдам.

Нахретдин любил сидеть в этом светлом кабинете с необычной тонкой мебелью.

Скрипело перо, учитель мягко перелистывал страницы, бисерно тикали часы на стене. Каждый шорох звучал здесь так вкрадчиво, что у Нахретдина по спине бегали мурашки. В такие минуты он имел право без церемоний обращаться к Сафуану-хазрету за пояснениями. И Нахретдин пользовался этим правом, чтобы задать свой, давно занимавший его вопрос о Сунне. Мудир вдохновенно и более подробно, чем на занятии, объяснял ему трудные места. Его арабская речь бежала чистой проточной водой, касалась сердца Нахретдина, как неожиданная ласка.

В этот раз Сафуан-хазрет был занят чтением. За окном пошел крупный снег, в кабинете стало особенно уютно. Нахретдин почти забыл о Юмагуже. Но том Ибн Касира, который он нарочно взял вместо незавершенного учебника по арабской морфологии, тяжелым долгом лежал перед ним. Он глубоко вздохнул, открыл толкование тридцать восьмого аята Корана о воровстве и печально посмотрел в сторону мудира.

— О учитель! У меня вопрос. В Сахихе от Абу Хурайры сказано: «Да проклянёт Аллах вора, которому...» Что там дальше — не разберу?

Сафуан-хазрет удивленно глянул на него поверх газеты и прочел наизусть:

— «...отрубили руку за воровство яйца, или за воровство веревки», — он слегка поморщился, будто эти слова были слишком кислыми на вкус, сложил в четверть большие листы и отставил их. — Что же ты замолчал, Нахретдин?

Сафуан-хазрет потер лоб. Лицо его сделалось таким уставшим, что Нахретдин смутился и не знал, как продолжить.

— Ладно, не трудись объяснять. Знаю, к чему ты клонишь. Тебе кажется неправильным, что я не наказал Юмагужу?

— Как я осмелюсь называть ваши поступки неправильными, Сафуан-хазрет! — ответил Нахретдин с вызовом. — Я только подумал, вдруг Юмагужа сумел оправдаться. И хотел предостеречь Вас. Не верьте его словам, ведь я поймал его чуть не за руку!

— Разве? Ты же сам говорил, была ночь, ты ничего не видел, только слышал. И никого не разбудил, чтобы засвидетельствовать кражу.

— Я не хотел устраивать шумиху. Она бы вам навредила. И без того в округе недовольны вашими методами.

Сафуан-хазрет усмехнулся на это. Нахретдин воскликнул:

— Неужели вы думаете, что я вру?

— Вовсе нет. Но для наказания не хватает доказательств.

Нахретдин вздохнул с притворной досадой:

— Да, тут я оплошал, — его голос исполнился злости. — В следующий раз перебужу всех, чтобы не было недостатка в свидетелях.

Нахретдин сам испугался своих слов и добавил как можно мягче:

— Но зачем вы кормите его? Пока Юмагужа ест с вашего стола, он вряд ли станет красть. Так мы его не поймаем.

— Ты сам ответил на свой вопрос.

— Разве по шариату грех можно оставлять безнаказанным?

Выпалив последнюю фразу, Нахретдин осознал: этим разговором он нарушал один из хадисов¹ Тирмизи² о необходимости оказывать почтение старшим. Учитель посмотрел на него с любопытством, будто впервые видел.

¹ Хадис — предание о словах и действиях пророка Мухаммада, которое регламентирует жизнь и поведение мусульман. Совокупность хадисов называется Сунной — это вторая по значению книга для мусульман после Корана. Хадисы были записаны сподвижниками Мухаммада.

² Тирмизи — Джами ат-Тирмизи, один из шести авторитетных сборников хадисов, составленный исламским богословом Абу Исой ат-Тирмизи.

— Хочешь учить меня шариату? Изволь сначала усвоить его основы. Знаешь ли ты, что сказано у Малика ибн Анаса? «Украденная вещь должна стоить не менее четверти динара или трех дирхемов. Если вор украл менее ценную вещь, то ему не полагается отсекаать руку». Можешь назвать точную цену еды, которую Юмагужа успел съесть?

Нахретдин уставился в пол. Сафуан-хазрет вдруг смягчился:

— Оставим толкования. Важна не буква закона, но его суть. Суть же в том, что Аллах милостив. Может ли лекарь вылечить больного, не установив диагноз? Ибо на каждую болезнь требуется свое средство. Так и тут. Грех Юмагужи не в дурной склонности его натуры, а в голоде. Устраню ли я причину его греха, отрубив ему руку? Напротив. Я лишу его способности заработать на пропитание и, оставшись без правой руки, он украдет левой. Если же я накормлю его и наставлю в учительском ремесле, то из него выйдет усердный хальфа, как и ты.

Нахретдин вспыхнул: «За что Сафуан-хазрет жалеет подлого преступника? Да еще и равняет с ним меня!» Уши его налились густым пульсирующим шумом. Он вскочил, ударившись о столешницу, звякнуло и покатилося перо, упала чернильница.

— Как Вы можете толковать фикх в какую угодно сторону! — выпалил Нахретдин. Его голос звенел, словно падая в глубокое ущелье. — Только неверные так вольно трактуют свой закон, отчего никто из них его не чтит! Пособник разврата! Ноги моей не будет в вашем медресе!

Переливчатое чернильное пятно быстро расплзлось по старой бумаге. Сафуан-хазрет, очнувшись, поспешил к столу убрать книгу. Нахретдин с треском захлопнул за собой дверь и безудержно, как девчонка, разрыдался.

Фатанат-ханум (1902—1909 гг.)

«Назад я возвращалась не напрямую через деревню, а вдоль Талкаса — чтобы отсрочить наказание. В сарае переоделась в свой кульмяк. Драгоценное платье абыстай свернула и сунула под камзол, чтобы потом спрятать в свадебном сундуке.

На удивление отец лишь побранил меня. В наказание мне велели помогать на скотном дворе. К олэсэй приставили среднюю Муюлбику, а мою постель и сундук перенесли к нарам старших. И вот уж нежданная радость, отец разрешил ходить в школу — мол, там, глядишь, хоть абыстай твой нрав обтешет. Будто она, моя избавительница Фатанат-ханум, всех заколдовала — и до моего темного угла дотянулись лучи ее волшебства.

Впрочем, с самой учебой сладилось не сразу. Я даже плакала тайком оттого, какая медленная голова мне досталась. Абыстай хитро сплетала слова, будто ткала ковер: то так подтянет тугие нити, то эдак, прокинет в зев челнок с красной катушкой, а потом с синей, зеленой, золотой. Попробуй пойми, что к чему: куда ведут все эти линии да узелки. Но время, как бердо¹, подбивало строку к строке и постепенно складывался рисунок океанов и пустынь, лесов и степей, вязью вились истории о пророке, сахабах и халифах.

Я слушала и любовалась абыстай: блестящими черными косами — она укладывала их по вискам, умным лицом, большими глазами в форме косточек от

¹ Бердо — гребень ткацкого станка.

урюка. Она двигалась величаво, точно журавль. Мне случилось видеть, как гуляют по берегу Талкаса эти священные птицы. Вот так же, высоко подняв голову, смотря чуть вверх и заложив руки, как крылья, за спину, вышагивала Фатанат-ханум по комнате. Ни одна из женщин, которых я знала, не держалась так гордо.

Как мы любили ее, как были ревнивы до каждой ее похвалы, жеста или взгляда! Наше восхищение переносилось на все, чего коснется ее рука, прежде всего — книги.

Благодаря абыстай у меня завелись свои собственные — печатные, почти новые: «Букварь» Уметбаева, «География» Карими, «Правила чтения Корана» Максуди. Я помню их свежий хруст и запах. Не то что чахлые лепесточки переписанных учебников Кагармана.

А еще там были картинки! Не узоры и не образцы заглавных букв, а настоящие рисунки людей и животных — никаких запретов шариата не знали смелые книги Фатанат-ханум. Я перечла каждую по нескольку раз. Читать начала уже через месяц. У прежнего муллы мой старший брат Урмантай и за три года не мог сложить буквы в слова. Отец был мною доволен.

Весной я научилась писать. Все истории из учебников я помнила наизусть, их мне было мало. Тогда я стала писать новые, на последних страницах прописи: свободной бумаги у меня не было. Я переиначивала сказки, что слышала от Юлдаша, и на место главной красавицы всегда ставила Фатанат-ханум. То была она девушкой-батыром, то дочерью владыки озер, но чаще — вещей птицей Хумай, женой великого Урал-батыра.

Временами, когда абыстай вслух читала нам стихи из толстой тетради, переплетенной вручную, я пыталась зарисовать на полях ее лицо.

Страницу я прикрывала ладонью. Но однажды Галиябану подглядела и, пока я у доски отвечала урок, взяла мою пропись, подняла над собой и как завопит визгливым голосом:

— Она вас нарисовала! Тут ваше имя!

Я подбежала к Галиябану, попыталась вырвать тетрадь из рук, но она так крепко стиснула пальцы — не разжать. Пропись вся смялась. Я закричала:

— Отдай! Не смей!

Девочки повскакали со своих мест. Манзура и Гулькей потащили меня за плечи, Рауза перехватила пропись и отдала ее абыстай.

— Садитесь немедленно! — скомандовала Фатанат-ханум, мы расселись, тяжело и часто дыша. Абыстай разгладила углы прописи и положила на мой стол.

— Не возвращайте ей! Прочтите! — запротестовала Галиябану. — Она про вас плохое пишет, она обзывает вас!

— Прочтите, всем прочтите! — забубнили остальные.

— Ай, девочки! Разве можно так? Если человек не хочет, чтоб читали, я читать не буду и вам не позволю. Перейдем к математике, — спокойно ответила Фатанат-ханум и вызвала Галиябану решать задачу.

Все занятие я просидела, как на каленом железе. Что если абыстай скажет: «Мектеб для учебы, а не баловства. Не желаешь учиться, иди прочь!» Или еще хуже: поверит девочкам и затаит обиду, уж лучше самой показать все рисунки и записи.

После занятий, когда Фатанат-ханум распустила класс, я подошла к ней. Она была так близко, что до меня донесся тонкий запах цветочного масла с ее волос.

— Что тебе, Суруп?

— Вот, — я протянула потрепанную, будто оскверненную, пропись. — Я хочу, чтоб вы прочли.

Фатанат-ханум покачала головой, усадила меня рядом и раскрыла линованные страницы. Пока она читала, мне было боязно смотреть на ее лицо. Мой взгляд сбегал вниз, к оторочке ее рукава. И все время проникновенной, щекочущей тишины, я боролась с желанием поцеловать украдкой кружево, сквозь которое бледнело ее голубоватое запястье.

— Ну, Сурур! Не впрок идет твое учение! — заключила она.

«Сейчас прогонит!» Мои глаза заволокло, и звуки приглушились, будто уши тоже наполнились слезами.

— Смотри-ка ошибок тут сколько! Букву «кы» в обратную сторону пишешь, огласовки не там ставишь, а окончания куда пропадают?

«Неужто все дело в ошибках? — приободрилась я. — Так то не беда!»

— Это поправимо, — вторила абыстай моим мыслям: я не сомневалась, что она с легкостью читала их, как алифба¹. — Главное, что ты, Сурур, сочинять мастерица! Но стоит ли свою фантазию тратить на меня? Ты лучше напиши о себе. Как ты живешь, о чем думаешь, мечтаешь.

— Но что во мне...

— Весь мир. Это только кажется, что он мал, как твой дом, и всякий уголок в нем ты знаешь. А потом увидишь: этот источник неисчерпаем. Каждый день творится новое и ты другая. Так и нить протянешь через время: от себя прежней к себе на годы вперед. Как говорил Аль-Ахталъ: «И по стихам своим, как по мосту, в бессмертие взойду».

Ее слова поразили меня. Будто время остановилось, а потом побежало по-новому. Раньше крутились себе жернова — солнце да луна — и перемалывали дни и ночи в нескончаемую пищу души, манну небесную. Фатанат-ханум взяла и нанизала все дни — ушедшие и предстоящие — на ниточку, и появилось у жизни неведомое начало, неведомый конец и неведомый слушатель.

Фатанат-ханум встала из-за стола, потянулась к деревянному ящику, закрепленному на стене, достала оттуда тетрадку и подала мне. Я открыла: все страницы в ней были чистые, незаполненные.

— Это тебе. Будешь пересказывать, что случилось с тобой за день. Потому такую тетрадь называют дневником.

С тех пор я стала смотреть на все иначе: чтобы каждый день случалось новое, надо внимательнее глядеть вокруг себя. Как много диковинного пряталось в давно надоевших мне вещах. Как туман над Талкасом висит сугробом. Как сияет улыбка Фатанат-ханум, когда буквы гайн и дхад выходят у нас в нужную сторону. Как во время зимней стирки руки матерей плещутся надутыми красными рыбами в черной дыре проруби. Как Юлдаш завалил медведя-шатуна и во всей деревне не достало гирь, чтобы взвесить тушу целиком.

Ходила по земле с полным сердцем, как ходят влюбленные. И почти уверилась, что родилась счастливой. Семь лет длилось это приключение, будто я не в Исяново жила, а путешествовала, как ибн Фадлан».

¹ Алиф ба — первые буквы арабского алфавита, составленные вместе эквивалентны слову «азбука».

*Апостол Павел и доктор Ананьев
(ноябрь — декабрь 1907 г.)*

За пределами тьмы устраивался новый порядок. Бодрее звучали голоса. Постель Ибрагима перенесли к печи, ближе к женской половине. Самой младшей сестре Аклиме поручили поить его водой и бульоном, остальные вернулись к своим заботам. Ибрагим испугался, как просто все свыклись с его болезнью. Сновали туда-сюда, чуть не переступая через него по дороге. Будто у печи лежало лишь его старое одеяло, а он давно сгинул.

Он подслушал, как шептались старшие сестры, раскатывая тесто. Обыденно, между разговорами о свадьбе, бешбармаке и приметах, они вынесли смертный приговор ему и новорожденной дочери Арслана. Вторя их словам, со страшным хрипом плакала Шамсия — тонкий голосок едва выходил из ее груди, прорываясь сквозь склизкие перепонки. Ее, как и Ибрагима, уже вывели из круга живых.

Только две женщины упрямо верили в исцеление — Алмабика и Муслима. Стерли в молитве свои четки, перепробовали все снадобья. Фаррах запретил тревожить его глупыми надеждами. Раз не смилостивился Аллах — ничто больше не поможет. Видно, и правда, грех на Ибрагиме большой, значит, сам виноват, а от Шамсии и так никакого проку, уйдет сейчас — меньше убытка. Но Арслан был молод, и годы еще не иссушили его сердце. Не вынеся, как терзается жена, он предложил ей:

— Давай-ка, раз тебе так нейдет, свезу Шамсию в земскую больницу в Раёвку к дохтуру Ананьеву. Вдруг поможет?

— Хорошо ты придумал! Свози, сынок, — подхватила старшая мать. — Ибрагима только возьмите с собой, умоляю!

В Раевку собирались тайком, пока отец чаевничал у сватьев.

Когда доехали, Ибрагим еле вылез из телеги и, едва держась на ногах, поплелся за Арсланом. В приемном покое переговаривались крестьяне-переселенцы. Ибрагим научился русскому, когда развозил кумыс по дачникам и санаторникам. Но крестьяне лопотали так быстро, что ничего нельзя было разобрать. Где-то в глубине комнаты причитали. Со всех сторон несло чужими запахами: чесноком, луком и какой-то сладковатой гнилью.

В кабинете запахи стали совсем неузнаваемыми — острыми, перехватывающими дыхание и гнетущими.

— Ну-с, кто у нас дальше? — спросил шершавый смеющийся голос. Ибрагим боялся таких голосов: они звучат весело и непринужденно, но все чувствуют. С таким собеседником не слукавишь.

Первой показали Шамсию.

— Как крепко нынче уснула! — шепнула Муслима. — Замерзла. А я ведь ее у груди держала!

— Выведи жену, братец! — сказал голос, смех в нем потух. — Не надо ей здесь.

— Что он говорит? Объясни, Арслан! — попросила Муслима кротко.

— Говорит, чтобы ты вышла. Лечить будет.

Зашуршали шаги, стукнула дверь.

— Что же ты раньше-то не привез? Эх! Теперь кончено! Вези хоронить, — накинулся голос на Арслана. Никто не смел отчитывать старшего брата так громко, и все же голос оставался беззлобным, гнев Фарраха был куда тише и злее.

— На все воля Аллаха, — ответил брат смиренно, мальчишеским басом. Кто-то недовольно выдохнул. Плеск воды, напряженное дыхание, легкий звон — все это суетливо возилось справа от Ибрагима. Он уже не мог стоять сам, выставил руки в стороны, ища опору.

— Так. А тут у нас что же? — голос приблизился к Ибрагиму, и чьи-то руки сзади подхватили его, повели, уложили. Холодные пальцы коснулись век — сильнее запахло непривычной горечью.

— И тут дифтерит! Да еще глазной! — сокрушался голос. — Значит, вот какое дело. Счет на часы. Оставляю его у нас. А ты поезжай, братец. Завтра одежды чтоб привезли ему на смену, еды мясной, жирной. Слышишь? Понимаешь меня? Оннадым?

— Понимаю, да!

— Ну, тогда ступай.

Зашелестело бумазейное одеяло — это Арслан завернул Шамсию и послушно вышел, ни слова не сказав Ибрагиму.

— Борную сюда. Готовьте сыворотку колоть! — сказал голос кому-то, чье присутствие Ибрагим чувствовал по правую сторону. Захрустел рвущийся пергамент, звякнуло железо, резко выдохнул откупоренный стеклянный пузырек.

Ибрагим сжался.

— Лежи-ка, братец, спокойно, не дергайся!

Ибрагим придвинулся ближе к его голосу — на этот раз надо было сознаваться в своей вине, чтобы не вышло ошибки с лекарством, как у прочих целителей. Почему-то этому голосу он готов был довериться:

— Грех минэ! Оттого не вижу!

— Грех, говоришь? И какой же?

— С Богом спорил, — прошептал Ибрагим.

— Поди ж ты! — усмехнулся голос и прочел: — «И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил». Не знаешь, небось, про что говорю? Это из Писания, Китап, слышал?

— Аль-Китап? Слышал.

— Был один такой апостол, Павел, тоже поначалу с Богом спорил. А потом уж Бог с ним заговорил.

— Говорил? Аллах говорил с человеком?

— Представь себе! А после того разговора Павел ослеп. Не пугайся, не насовсем. На три дня только. Хотя и потом он видел плохо, даже писал по слабости зрения крупными буквами. Так что никому разговор с Богом даром не обходится. Зато и отмечены они особо.

Ибрагим изо всех сил напрягся, пытаясь собрать смысл из услышанного. Значит, не один он совершил такой грех. И Бог не отверг от Себя того человека, а даже ответил ему. Дальше он не понял. Слово «отмечен» он слышал раньше, из наградной грамоты ильсегуловских ветеранов Русско-японской войны, что зачитали на сходе: «Отмечен знаком отличия Военного ордена». Неужто и он, Ибрагим, будет награжден за пережитое?

Но ведь слова доктора относились к преданию христиан, людей Книги. А они, как известно, переиначили истинное откровение. Поэтому их рассуждениям о Создателе нельзя доверять.

— Что ж, — шутиливо продолжил голос, — вот и я возлагаю на тебя руки, чтобы ты исцелился, дай-то Бог! Потерпи уж, братец!

Он прищемил веко Ибрагима чем-то острым, потянул его — и будто вспорол.

Ибрагим вскрикнул. Кровь брызнула из век, очищенных от пленки. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его.

Сначала он увидел только свет — колючий, зеленоватый. Потом, царапая глаза, из него выделилась темная твердь пола, а над ней влажный блеск стен. Голос облекся острой вытянутой фигурой, Ибрагим не мог еще различить черты лица, только седую бороду и ледяные отсветы круглых очков. Зрение причиняло Ибрагиму жгучую боль, которая гнала по телу жар. Горячий воздух подхватил его и понес вверх.

«Гусмания» (март 1908 г.)

Нахретдин потуже стянул чекмень кушаком, открыл плотную дверь, обитую одеялом. Из сеней потянуло промозглой тоской. Утра ранней весны были еще по-февральски холодны. Над землей дрожал морозный студень. От него остро щипало в носу, каменело лицо, а жар выпитого чая сразу выветривался из груди. Не хотелось выходить из прогретой квартиры.

— Закрывай скорей, тепло выдует! — погнала его Файруза-апа, и он поспешил вон. С непривычки едва не слетел с узкой площадки в тусклый колодец лестничного пролета. Он спустился наощупь по кривым ступеням и вышел на улицу.

С тех пор как Нахретдин навсегда покинул медресе Сафуана-хазрета, он мечтал найти другого наставника. Но сначала пришлось вернуться домой: зима — неподходящее время для поисков. Он изнывал от грязной неосмысленной работы. Ему приходилось изо дня в день убирать денники племенных коней, задавать им соли, поить и чистить ездовых, осматривать копыта. Одно его утешало: по весне, как только отступят метели, он отправится в Уфу, где заседает Оренбургское магометанское духовное собрание и верховный муфтий, где стоит Первая соборная мечеть, а рядом с ней лучшее губернское медресе «Гусмания». Там живет не один достойный факих, недаром старики говорили: побывать в Уфе, все равно что пройти полдороги до Мекки.

Фаррах же надеялся, что сын навсегда оставит духовное поприще и примет на себя наследство Ибрагима, больше для хозяйства негодного. По счастью брат пошел на поправку, и отец смягчился. Было решено, что после апрельской конной ярмарки Нахретдин погостит в Уфе у двоюродного брата по матери Тунгатара и разведает про «Гусманию». Но с началом весны Нахретдин решил в одиночку отправиться на разведку, пока отец и матери были заняты свадьбой сестры Хадиши.

Он бесстрашно преодолел опасный путь через мерзлые леса, по бездорожью, под урчание волчьей стаи, взявшей его след от самого Давлеканово. А столичных улиц испугался.

Хотя то была самая тихая пора в жизни города. Уфа пребывала в глухой дремоте, оставив мятежные прихоти 1905 года. Словно и вовсе не было двух горячих лет, похожих на землетрясение, когда три губернатора — Богданович, Соколовский, Цехановецкий — сменили друг друга, не в силах удержаться, а улицы были наводнены кричащими толпами. О том времени Нахретдин знал немного. Весной 1905 года впервые отменили уфимскую конную ярмарку, въезд в Уфу был закрыт, и губернская столица целый год жила в оцеплении, как чумной город.

Но Нахретдин испугался вовсе не мятежного духа губернской столицы. Стоило ему выбраться из Нижегородки — магометанской части Уфы, худо-бедно похожей на деревню, он оробел от парадного вида центральных улиц. Гордые высокие окна с

презрением отражали его сутулую фигуру в мешковатом чекмене. Казалось, его неуклюжая тень оставляет грязный след на беленых колоннах и желтых стенах. Он засомневался, что этот надменный город примет его.

Светлело. Нахретдин повернул налево к набережной, как ему указывал Тунгатар, и дальше по Воскресенской улице между сизыми тенями парка и белокаменной ограды архиерейской усадьбы. Над деревьями поднялась длинная колокольня Кафедрального собора, чуть не выше самого минарета первой соборной мечети, и широкий золотой купол, точь-в-точь как у мечети Омара на дагерротипе в кабинете Сафуана-хазрета. Нахретдин усмехнулся нелепому подражанию.

— Храмы строят по образцу наших, а начинают своими погаными идолами! — он брезгливо сплюнул. Вдруг, будто в ответ на оскорбление, забили колокола. Грозный звон разбивался о ледяной воздух, и его осколки разлетались над крышами, распугивая стаи ворон. Нахретдин побежал вниз, к основанию Случевской горы, на гребне которой стояла мечеть, укрыться в спасительных стенах. Но чугунный клич разносился по всей округе до самого двора мечети, ему вторили другие церкви с Усольских вершин.

Наконец против него выступил плавный напев муэдзина. Он был слишком слаб и одинок, чтобы заглушить разнузданное многоголосье. Это покорило Нахретдина: даже в Уфе их теснили иноверцы — главная мечеть делила улицу с главным собором. И мир не раскололся по ней, а наоборот, держался крепко, как спаянный швом.

Нахретдин поплелся к дверям мечети в пестрой очереди парчовых тулупов, соболиных шуб и бархатных елянов¹. Два шакирда в дорогих форменных пальто с каракулевой оторочкой переговаривались вполголоса. Подхватив заветное слово «Гусмания», Нахретдин прислушался. Их странный разговор еще больше смутил его:

— Но ведь сам Камали обучался у нас.

— Так то было при покойном Хайрулле-ахуне!

— И что же?

— Разве ты не видишь? Все прибрали к рукам кадимисты! Лучших мударрисов Камали сманивает к себе, а они только рады.

— Тише ты, ведь услышат!

Они обернулись, брезгливо оглядели Нахретдина и продолжили шепотом. Нахретдин опустил голову и заметил, как запачкались его сбитые сапоги и чекмень, пока он пробирался по топкой слякоти. Он стыдливо скатал обувь и верхнюю одежду в тугой валик, робко ступил в мечеть, наскоро совершил омовение, но нужного для намаза очищения не ощутил.

Он примостился в уголке у выхода. Ему казалось, что его ступни все еще грязны. Оглядываясь по сторонам (не осталось ли следов на роскошном ковре), замешкался. Порядок молитвы он знал наизусть, ему не нужно было следить за движениями имама. Меж тем имам уже произносил такбир², а он все еще не был готов. Не достигнув нията, Нахретдин быстро поднес ладони к голове. Все же на первом ракаате он отстал, оттого излишне суетился и мельчил. Такого с ним никогда не бывало. Он всегда чувствовал, как намерение вспыхивает в солнечном сплетении, разогревает легкие, нужные слова пульсируют во рту, и тело податливо гнется в поясных и земных поклонах. Размеренно, торжественно. Молитва отливала и ковала его в раскаленном жаре, как ятаган.

¹ Елян — башкирская верхняя длиннополая одежда с длинными рукавами, которую носили и мужчины, и женщины.

² Такбир — возглас «Аллаху Акбар», произносимый в начале намаза.

Во время чтения первой суры он, наконец, сосредоточился. Знакомая приятная боль затеплилась под сердцем. Он дал ей разгореться, подначивая раздражением на несправедный город. Молитва придала решимости: не зря он оказался здесь, ему выпало бороться с засилием неверных, пока столичные мусульмане пекутся о богатстве.

Он твердо и уверенно вошел в здание «Гусмании», стоявшее напротив мечети. Но к мудиру его не пустили. Комендант смерил взглядом его грязный мятый чекмень и строго отчитал:

— Не ко времени ты явился. Вступительные экзамены начнутся осенью. Запись летом, тогда же следует платить взнос в десять рублей. А начальство нечего беспокоить!

— Это взнос за год?

— За год? Да ты что! Это начальный. За обучение, ежели поступишь, от сорока до ста рублей в год, как Совет распорядится. Тогда же выпишешь заказ на форменное пальто, бешмет, рубаху и брюки. Учебники купишь, тетради, перья, что полагается. Ну и решишь, у нас столоваться или как.

Сердце Нахретдина упало. Целых сто рублей! Да еще одежда, учебники. Про то, что он будет есть все полгода между каникулами, он даже не думал.

— Впрочем, — смягчился комендант, — если ты не без способностей, но из бедной семьи, то пиши прошение на имя мудира. Сдашь экзамены, возьмут учиться бесплатно.

— Этого еще не хватало! — воскликнул Нахретдин и топнул шатким каблуком. — Я из семьи тархана Янбактыева, потомка Илькей-хана, мой дед подавал деньги на ковер в вашу мечеть!

— Ну, как знаешь! — ухмыльнулся комендант.

— Вот потому тут все так! — бранился Нахретдин, идя по улице и не замечая, что говорит громко и прохожие оглядываются на него. — Колокольни выше минарета! Азана не слышать! Не нужен им истинный поборник закона!

Однако по тому самому закону он не имел права учиться бесплатно: Фарраку не составило бы труда вносить хоть по двести рублей за год, но отец ни за что не станет столько платить. Вот и выходило, что по закону Нахретдин не считался бедным, а по правде он таким был. Закон, который он нетерпимо отстаивал, обернулся против него.

На душе сделалось до смерти тоскливо: будто ему поручили хранить что-то ценное, а он это потерял.

На кочевье (июнь 1909 г.)

«Лето 1909 года прошло, как жаркий день перед грозой. Солнце дышало горячо, будто у самой земли, все застыло в ленивом зное, а вдалеке стучал гром. Но казалось, до нас он не доберется, тучи растают на горизонте.

Потом я сосчитала все недобрые приметы наступающей бури, которые тогда упустила.

Мы откочевали всей родней, с братьями отца, женами и детьми, на свои вотчинные поля у леса, ближе к нашим бортям. Там который год стояли летние срубы — бурама, по одному на семью. Войлок от старой дедовой юрты весь истрепался, и мы ее не ставили.

Мне давно хотелось на волю, на простор — не сиделось на месте, как перелетной птице, хоть и жалко было расставаться с абыстай.

Как доехали до кочевья, перенесли из телеги кумганы, посуду и кумысные кадки. Я натаскала глины, чтобы замазать прохудившийся за зиму очаг, пока сестры собирали для крыши свежую драницу вместо сгнившей. Дети в бурама не жили, нам ставили берестяные шалаши и отдельный — из добротных кусков коры — для Юлдаша.

Если случались другие гости, им отводили место в бурама. Но Юлдаш не желал стеснять хозяев. Случалось, он ночевал на сеновале или под открытым небом, когда ходил в другие деревни играть на свадьбах и прочих праздниках. Был он вроде отшельника, вольного и дикого. Он скудно вел свое безлошадное хозяйство, кормился охотой, для чего разводил соколов.

С виду неказистый, левое плечо выше правого, лицо загорелое дочерна, щеки в глубоких оспинах, как исклеванные птицами сливы. Но стоило ему заиграть на курае¹, и будто сам Создатель преображал его — каждая черта, что портила его лицо и фигуру, становилась знаком особой красоты: он походил на древнюю скалу. Юлдаш излучал благодать, полученную от Бога, как ночью полная луна проливает свет, отраженный от солнца. В ту пору, когда на деревенских сходах, йыйынах, спор между аулами решался на состязании кураистов, Юлдаш всегда выигрывал и оборачивал любое дело в пользу исяновцев, за что его уважали больше старосты.

Каждый день родные надеялись: вдруг он появится. Принять его считалось большой честью. Отец приберегал для него кувшин зрелого кумыса, а матери — самые сладкие и жирные пышки. С Юлдашем любая трапеза была веселее и обильнее, а ночи у костра — загадочнее и выше. Порой до самой зари он распевал древние кубаиры² об Урал-батыре, Заятуляке и Хыухылу.

А уж я ждала Юлдаша пуще всех. И на то у меня была своя причина. Юлдаш всюду брал с собой своего приемного сына Алдара, шестнадцати лет. Алдар остался сиротой при живой матери. Она была женой старика Ярмухамета, что жил через двор от нас, родила подряд троих детей, сына и дочерей, и овдовела. Родни у мужа не осталось, и братья выдали мать Алдара замуж во второй раз, чтобы на их шее не висела, да и калым заново получить — все равно что одну лошадь дважды продать. Новый муж не захотел взять к себе детей, братьям они тоже были не нужны. Так и остались малыши одни в хилой избе Ярмухамета. Старший Алдар смотрел за сестрами, как мог. Вся деревня их кормила по очереди и помогала дровами. Только девочки вскоре умерли от болезни или от тоски по матери, один Алдар остался. Тогда Юлдаш взял его на воспитание, обучил всему, что умел. Вдвоем сподручнее: у Алдара голос сильнее и звонче, он поет, а Юлдаш ему на курае подыгрывает. А когда вдвоем играли, казалось, что райские птицы кружат над землей.

Сейчас и вспомнить-то стыдно, от чего томилось тогда мое сердце — от того, как он играл, вытянув длинную шею и расправив плечи, оправлял бородку, которую длинный курай делил надвое, щегольски откидывал за плечо хвост лисьей шапки, в ней он был похож на Салавата Юлаева.

Ночи я проводила в мечтах. А дни — за работой. Лето не мешкало, подгоняло. Сперва надо было проверить борти: не разорил ли их медведь, не побило ли морозом пчел. Отец с Урмантаем ходили по восточной стороне, а Кагарман и я — по западной.

¹ Курай — башкирский духовой музыкальный инструмент, изготовленный из стеблей уральского реброплодника.

² Кубаир — жанр башкирской поэзии — поэтический сказ, исполняемый напевно или речитативом.

Кагарман охотно брал меня с собой: я умела определять наши борти издали, не сверяясь с вырезанной на стволе тамгой. Каждое дерево узнавала по фигуре и по голосу. Какое коренастое, какое высокое и стройное, какое пышное, раскидистое. Одни ласково шепчут, другие ворчат, третьи по-стариковски постанывают. Как только я находила нашу борт, Кагарман набрасывал кирем¹ на поясицу и обхватывал им дерево. Перекидывая ремень, он быстро взбирался до самой дупленицы. Я смотрела снизу, а он становился на лянге² и дразнил меня, что видит всю землю до самого Троицка.

В один из обходов мы увидели тучи новых роев. Они налетели невесть откуда. Одни рвались атаковать занятые борти, но не как при нападe, когда воровки пытаются тихо проскочить сбоку и сначала возятся подле дупленицы, вынюхивают, а набрасывались сразу, всеми войсками. Другие пчелы суматошно, безумно носились в небе. Те были опаснее всего: могли кинуться без разбору, жалить до смерти — не то что человека, коня свалить. Мы еле от них убежали, отмахиваясь дымарем.

То была примета первая.

Мужчины встревожились: такое случалось при больших пожарах — если огонь перекинется в наши земли, быть беде на века. Мы приглядывались к лесу, днем высматривали дым, ночью — огненное зарево, принюхивались, боясь уловить в хвойном воздухе запах гари. Но обошлось.

В июле, когда наступило время подрезать мед, хлопот прибавилось. Даже женщинам приходилось по очереди отлучаться от стряпни и заготовок и лазить на борти. И всех младших брали на подмогу — цеплять на веревку пустые батманы и принимать их полными сот. А ведь надо еще кобыл и коров выдоить, собрать травы и ягоды, взболтать кумыс и заквасить корот³, чтобы до осени он успел хорошо прокоптиться над огнем. К концу дня все падали от усталости и спали без памяти до рассвета.

Одна я не могла уснуть. Дикими пчелами вились вокруг меня мысли об Алдаре, садились на грудь собирать горький нектар печали. Отчего он все не идет? Разве остался на кочевье у Ишбердиевых? Уж не поет ли песни для проклятой Галиябану? Мое сердце запечаталось воском, как соты. Вязкий мед ревности творился в нем, оттого оно билось медленно. Порой надолго замирало. Тогда я выбиралась из шалаша, бежала по мокрой траве все быстрее и быстрее, чтобы сердце застучало чаще, чтобы я могла его снова почувствовать. Засыпала на воздухе перед самой зарей.

Так ранним утром и нашел меня Алдар спящей на лугу. Не разбудил сразу, а стал наигрывать песню о семи девушках. Вспомнил мою самую любимую! Вмиг мое сердце очистилось от смолистой ревности, вспорхнуло невесомой птицей, затрепетало.

Из-за Алдара не распознала я ни вторую, ни третью приметы. Все видела, все слышала и ничего не замечала. Нипочем мне было, что Юлдаш хмур и подавлен. Вместо песен и сказок три ночи подряд он толковал с отцом о случившихся бедах.

Не от пожара бежали пчелы из своих дуплениц. На юго-западе вовсю рубили леса помещика Абызгильдина. Эти леса ему отмежевали из земель общины, с чем деревенский сход долго не соглашался. Но по весне распустили сход, а новые границы закрепили подписями нескольких старост поговорчивее. Сколько ни настаивали вотчинники на своем праве, запечатанном старыми грамотами, лесная стража

¹ Кирем — приспособление для лазанья по деревьям.

² Лянге — подставка для ног, закрепляемая на стволе веревкой.

³ Корот — кисломолочный продукт в виде шара, высушенный над очагом.

Абызгильдина не пускала бывших хозяев к их бортям. Тогда они напали на стражу, повязали и стали ломать деревья вместе с бортями. Потом жандармы прискакали, всех порубщиков избили. Двадцать искалеченных бортевиков арестовали и увезли на суд в Оренбург.

Мало того. Юлдаш говорил, что земское начальство велит пустить летние выпасы под распашку, и всех обяжут растить хлеб.

В другое время я бы забеспокоилась за наши борти и кочевье. А тогда — ни лесов, ни полей, ничего мне было не нужно, кроме Алдара. Я не таясь смотрела в его глаза. Вечерами мы долго глядели друг на друга, разделенные костром — кто кого пересилит. Не одержав верх в этой битве, Алдар решил захватить меня хитростью.

Он придумал напугать меня.

— Знаешь легенду о семи девушках? — начал Алдар. — Как хан вражеского племени похитил семь прекрасных сестер и увез в свой стан. Чтобы девицы не убежали, им рассекли стопы острым мечом и насыпали в раны конский волос. И все равно они решились на побег. Только из-за боли в ногах они ушли недалеко. Злой хан со своим войском настиг их у озера, некуда бедным деваться. Тогда взяли их за руки, вошли в воду и утопились.

— Слыхали мы эту легенду, — отозвалась я, дав ему пересказать ее полностью. — То озеро недалеко от нас, сразу за Ирендыком, и зовут его Култубан, озеро стопы.

— А вот и не то это озеро. Я разведаль, — возразил он тихо, вкрадчиво, так что все поняли: сейчас будет история. — В прошлую зиму снега долго не было, а морозы стояли лютые. Быстро сковало Талкас. И лед на нем был прозрачный, но крепкий. Глубоко видно, будто через стекло, а идешь по нему, и он тебя держит. Решил я рыбу поудить. Шел-шел по льду, высматривал карпов и вдруг...

Он замолчал и посмотрел на меня: боюсь ли? Я улыбнулась: рассказывай, мол, дальше. Младшие сразу завозились, затребовали:

— А что потом?

— Я был уже далеко от берега — шагов на триста — и вижу: белеет что-то подо льдом, вроде подводных скал. Пригляделся — не скалы это!

— Чему там еще быть? Ну? — просили братья.

И снова я улыбнулась в ответ на пылливый взгляд Алдара. Он смотрел упрямо, голос стал ниже.

— Там были лица! Семь красивых девичьих лиц, запрокинутых к небу. Все белые, как соль. Только ресницы, брови да косы черные.

— А глаза?

— Глаза закрыты.

Дрожь охватила меня, но я виду не подавала.

— Мягко колыхались их фигуры от течения, будто они мирно дышали во сне. Косы вились вокруг их шей, как угри. Не только их тела сохранила волшебная вода Талкаса, не истлели еяны, не потускнели ткани и вышивка. Они держались за руки, как хоровод водили, приподнявшись со дна. Так я и замер, любуясь ими. И тут...

Никто уже не просил досказать. Было жутко узнать, чем кончилось. Я смотрела по-прежнему спокойно и гордо, будто говоря Алдару: «Не победишь меня!» Он продолжил медленно:

— В этот самый миг одна из девушек, на которую упала моя тень, открыла глаза.

Ночью мне было не до сна от страха. С тех пор я боялась озера. Все мне мерещился девичий голос, поющий со дна глухо, по-рыбьи — только сердцу было слышно: «Скоро будешь с нами, близок твой срок!»

Срок мой и правда подходил. Остался год, и матери уже толковали про свадьбу и калым: им хотелось пораньше меня продать. На ту пору мой жених Сяитбай уже имел двух жен и еще пуше разжирел. С ним я стану, как семь девушек, что привиделись Алдару: вот оно, небо и свобода — прямо над головой, но сильна вода и не выбраться наружу.

Фатанат-ханум была моей последней надеждой. В ее руках людской порядок был не прочной горной грядой, где утверждено от начала до скончания века, а мягкой податливой глиной, из которой человек сам лепит себе все, что хочет.

Я рассказала ей, что с колыбели продана вздорному Сяитбаю в младшие жены, и не хочу идти за него.

— Я знаю, что делать! — зашептала абыстай, сияя. — Гляди, что «Вақыт» пишет: в Уфе на будущий год откроют женские педагогические курсы «Дарлмугаллимат». Мы с Идрис-хазретом поможем тебе поступить. Станешь учительницей, будешь сама себе хозяйкой!

Вот надежда! Вот избавление! Ай да птица Хумай, спасительница!»

Странное сборище (март 1908 г.)

Кое-как Нахретдин добрался до дома родни, насквозь выветренный влажными сумерками. Файруза-апа велела ему сесть на кухне, неохотно налила тарелку шурпы, шмякнула в нее жилистую, плохо ошипанную куриную голень и продолжила раскатывать пресное тесто. Не зря старшая мать жаловалась на нее: «Неприветливая, прижимистая, как судорога! Погубила Бахтияра!»

Дядя Нахретдина, Бахтияр-абзы, из бурзянских припущенников, не смог прокормить семью в деревне, подался в Уфу рабочим на чугунно-меднолитейный завод Гутмана. Сперва жизнь его миловала. Он выбился в мастера, выучил сыновей в русской школе. Старший Хаммат пошел по инженерному делу, обзавелся семьей и своим углом. К разочарованию Бахтияр-абзы, младший Тунгатар увлекся пустыми словесными науками. После училища он поступил наборщиком в газету «Эль-галями-ислами», затем корректором в уфимский отдел издательства «Хусаинов, Каримов и Ке», а потом возомнил себя критиком, стал кропать статьи в татарские журналы.

По злой усмешке судьбы Бахтияр-абзы погиб, пытаясь потушить огонь в своем цеху, где производили лучшие в империи пожарные машины и огнеупорные трубы. После его смерти семье зажилось худо, в страховом пособии и пенсии вдове было отказано. Из дома в Северной слободе они съехали в барак Нижегородки, ели скудно. Шурпа, которой угощался Нахретдин, подавалась у них по большим праздникам, в остальные дни жили на похлебке из курдючного сала, сгущенной горстью муки.

— Вот ты значит где! А я думал, еще не вернулся! — воскликнул Тунгатар за его спиной. Нахретдину стало чуть уютнее: наконец-то можно пересказать неприятности этого дня, отвести душу. Брат был разгорячен, челка прилипла к потному лбу, он говорил быстро и громко, отирая усы тыльной стороной ладони:

— Вот дают Нуриагзам с Мансуром! Опять сцепились! Да при таких гостях! Ну пойдем к нам, чего ты тут? Я знаешь кого сегодня зазвал? О, братишка! Специально для тебя старался! Но сейчас не скажу — сам увидишь!

Нахретдин неохотно встал, брат крепко взял его за плечи и повел в большую комнату. Оттуда в коридор выплескивались реплики оживленного разговора, кашель, смешки. Видно, народу набралось много. Нахретдин смущенно опустил голову. Они вошли. Воздух был плотным от табачного дыма и приторных благовоний, у Нахретдина запершило в горле. Тунгатар усадил его на свободный табурет, а сам встал позади, не снимая ладоней с его плеч.

Нахретдин исподлобья осмотрел большой овальный стол. Угощение явно не дотягивало до важных гостей: пара пиал с орехами, урюком и инжиром, баночка меда, одно большое блюдо с кусками куриного мяса того же скверного вида, что были в супе у Нахретдина. Ни шурпы, ни баранины, ни беляшей. У нерадивой Файрузы-апы не нашлось даже чак-чака для почетных гостей. Спор распался справа от Нахретдина, его так и обдавало жаром от противников:

— А я рад, что мода на красных сходит на нет. И спасибо Ключарёву!¹ — голос этого был высок, строен и певуч, как у муэдзина. Он говорил мудрено: иностранные слова оборачивал башкирскими окончаниями и выговором. Оттого речь звучала знакомо, но совершенно непонятно.

— Ну, Мансур, ты заговариваешься! — другой голос, бархатный, насмешливый.

— Да, спасибо! А то ведь по улицам нельзя было пройти — на каждом углу могли обчистить.

— Сейчас любой уличный разбой принято сваливать на революционеров. Так властям удобнее.

— А по-твоему, Нуриагзам, экса — не разбой? Или тебе будет легче, если тебя ограбят и избьют не просто так, а ради революции?

Нахретдин, наконец, осмелился посмотреть в их сторону. К его удивлению спорили двое совсем молодых мужчин, почти юноши: один скуластый в пенсне — Нуриагзам. Другой с широким крутым лбом — Мансур. Между ними сидел человек постарше, низкий, шуплый, сутулый. И обращались спорщики не друг к другу, а к нему, как к судье. Тот на их реплики слегка качал крупной головой на тонкой шее. Его глаза смотрели печально, а губы улыбались, топорща густую щетку усов.

В противостояние вступали другие. Хотя Нахретдин не всегда понимал смысл фраз, он улавливал в них что-то тревожное, неподобающее. Уважаемые гости осуждали губернские власти, но не за униженное положение мусульман на собственной земле, не за бесчисленные храмы иноверцев, а за какие-то права и свободы, вздорный женский вопрос. За этим Нахретдину мнилось покушение не только на имперский закон, но и на сам шариат.

Он испуганно оглядывал собравшихся. Никто не высказывал ни страха, ни возмущения святотатством. Нахретдин решил, что неверно истолковал их слова, немного успокоился и принялся украдкой рассматривать лица.

Тогда он заметил еще одну неприятную особенность: гости не носили бород. Их подбородки были неподобающе нагими, как у юнцов, хоть у мужчин это порицается. И головы не были обриты налысо по хадису Тахави: из-под каляпушей² торчали волосы, подстриженные на разную длину, как у неверных, а ведь это и вовсе харам — запрещено шариатом.

Нахретдин повернулся налево, где все это время было тихо, и остолбенел. С той стороны стола среди мужчин сидели девушки! За несемейной трапезой, при почетных

¹ Ключарёв Александр Степанович — уфимский губернатор (1905—1911).

² Каляпуш — высокая тибетейка.

гостях, да к тому же, судя по головным уборам, незамужние! От негодования и стыда у него перехватило дыхание. Рука невольно потянулась к мешочку под рубахой, где было спрятано зеркальце — его оберег, талисман его чистоты.

Одна из девушек, обращенная к нему полубоком, держалась и вовсе возмутительно: она сидела не как положено — на самом краешке, сгорбленно, подобрав колени и опустив голову, а глубоко и свободно, откинувшись на спинку кресла. Руки вольно лежали на подлокотниках. Платье было из неприлично светлой ткани. Русые с медным отливом локоны выбивались из нетуго закрученного узла, на макушке была только маленькая тюбетейка — она даже не покрыла голову платком! И смотрела на всех без стеснения быстрыми ореховыми глазами, не стыдилась смеяться и не прикрывала ладонью рот, когда улыбалась.

Нахретдин вскочил, но брат, все еще державший его за плечи, силой усадил на место.

— Эй! — шепнул Тунгатар ему на ухо. — Что рвешься, как необъезженный жеребец? Впервые девушку увидел, что ли?

— Как она смеет, среди мужчин! — воскликнул Нахретдин.

— Молчи, малай неотесанный! — зашикал брат. — Ты хоть знаешь, кто она? Это же сама Сахибджамал Гиззатуллина-Волжская, актриса труппы Кариева! Неужто ты в театре ни разу не был? Ну вот свожу тебя — посмотрю, что тогда скажешь!

Тунгатар тут же обратился к девушке:

— А что вы нынче ставите?

— Из Островского. «В чужом пиру похмелье», — горделиво ответила та.

Нахретдин хмыкнул. Слова «актриса», «театр» и «Островский» не внушили ему никакого доверия. Его жгла обида на брата за то, что тот заманил его в круг нечестивцев в довершение такого тяжелого дня. Меж тем справа не утихал спор.

— На всех столыпинский галстук не накинута! — кричал мальчишка на углу стола, его лицо и уши по-детски розовели.

— Либералы провалились! — со значением сказал красивый мужчина в светлом костюме. Речные глаза, немного навывкате, смотрели не по возрасту строго.

— Это Галимджан Ибрагимов, — шепнул Тунгатар самодовольно. — Читал его «Изгнание Заки-шакирда из медресе»? В Эль-Ислахе печатали.

Нахретдин сердито покачал головой.

— На пути просвещения буржуазия нам не помеха, а помощники, — возражали ему. — На чьи деньги строится «Галия»? Джантюриных, Назирова, Шамгулова! А вы обзываете их угнетателями.

— Насмотрелся я на вашу буржуазию, — вдруг заговорил человек, к которому они обращались, как к старшему. Все мгновенно притихли. — И на своей шкуре испытал широту их души. Их благотворительность на чужом горбу пашет.

— Угадай, кто это, — восторженно зашептал Тунгатар. — Мажит Гафури. Тот самый.

Нахретдин с сомнением посмотрел на маленького человека с оттопыренными ушами и несуразно крупными чертами лица. «Как? Тот самый, великий? Быть не может! Они меня разыгрывают! Они издеваются!» — Нахретдин чуть не ударил кулаком по столу.

— А как же! Мы читали вашего «Богача». Очень верные строки! — согласно закивали все спорщики.

— Они не праведное подавание платят, а откупаются от совести, — едко продолжил Мажит Гафури, не обращая внимания на похвалу. — Не ради народа

стараятся, а для своей славы. Их подаяние — это рия¹. А народ они со свету сживают на Орских приисках.

— Вы наш Горький! Борец за правду! — сказала Сахибджамал, немного краснея. — Посмотрите! Даже лицом похож!

«Прервала старшего. Заговорила без дозволения хозяина дома или махрама²!» — снова разозлился Нахретдин. Но на ее дерзость все только воодушевленно закивали:

— Верно говорите, Сахибжамал-туташ! — кивнул Ибрагимов. — Как мы не замечали прежде!

— Ура нашему Горькому! — захлопала она в ладоши. Кто-то робко поддержал, но аплодисменты быстро захлебнулись.

— О, боюсь, это слишком высокая похвала для меня. Я до нее не дорос, — грустно улынулся Гафури. Несколько человек прыснули.

— Ох и острый на язык наш Мажит-ага! Себя не пощадит. — Тунгатар принялся объяснять шутку Гафури: — Горький-то, говорят, ростом — каланча! А наш золотник мал, хоть и дорог.

— Я не то, я в литературном смысле, — залепетала девушка и окончательно смутилась, подобралась, стала скованнее. Нахретдину понравилось, что его любимому поэту удалось поставить эту выскочку на место.

Переведа дух, гости вернулись к своему странному разговору. Нахретдин совсем потерял нить, будто противники перебрасывались зашифрованными посланиями. Его распирало от непонимания и любопытства. Он так и эдак объяснял себе новые слова, а смысла не складывалось. Диковинных «эсеров из Танчилар» и «большевиков из Уралчилар» он посчитал за татарские или ногайские кланы и размышлял, за что русские власти казнили их сыновей — как следовало из слов Ибрагимова.

Зато Нахретдин опознал название «Иттифак-аль-муслимин». Он помнил, как приезжие муллы уговорили его отца поставить свою тамгу за этот союз на выборах в «думу». А зачем была нужна эта «первая политическая организация мусульман империи» и что за «дума» такая учреждается в российской столице — Нахретдину было неведомо. И он очень удивился словам гостей, что «Иттифак» оказался сильным соперником союзам неверных. Сам царь испугался и распустил свою непонятную «думу», отобрав только что дарованные права, «и последнее было хуже первого».

На этом месте опять схлестнулись. Нахретдину казалось, что почетные гости вот-вот кинутся друг на друга с кулаками. Но к его разочарованию драки не случилось. Спор покотился по заезженной колее — в унылый тупик.

После третьеиюньского переворота этот разговор повторялся один в один, как репертуарная пьеса — в гостиной у Тунгатара, в кабинете редакции и в зале Восточного клуба. Те, кто шли дальше слов, давно были арестованы, а остатки разоренной оппозиции ни о чем не могли договориться. И не потому, что были слишком разными: сторонники постепенных реформ — мусульманские кадеты и шакирдское общество ислахистов, поборники радикальных мер — тюркские социалисты и панисламисты. Дело было в другом: они не верили в свой реванш.

¹ Рия — показуха, свершение благого дела ради славы, а не ради Аллаха.

² Махрам — в исламском праве близкий родственник мужского пола, за которого женщине нельзя выходить замуж по причине родства, но с которым ей дозволено оставаться наедине или выходить из дома.

Последняя соломинка, за которую они тщились ухватиться — идея тюркской автономии. Ее проект подготовили башкирский депутат, известный в Петербурге адвокат Галиаскар Сыртланов и казахский благотворитель Салимгирей Джантюрин. Главой будущей автономии большинство джадидов видело молодого Сыртланова, потомка знаменитого дворянского рода, блестящего адвоката. Он имел вес не только среди мусульман, но и в кругу петербургского дворянства, особенно после того как выступил защитником вице-адмирала Рождественского, адмирала Небогатого и генерала Стесселя на трибунале над участниками Русско-японской войны. Его ходатайство помогло обвиняемым избежать смертной казни. На этот авторитет и делали ставку сторонники автономии.

— Размечтался! Кто даст вам автономию?

— Сыртланову дадут!

— Держи карман шире!

Голоса у всех надломились.

— Самим надо брать! Вон русские эсеры...

— Русские эсеры только кровь пускать умеют! Добились этим чего-нибудь? Терпите теперь этого тирана Ключарёва.

— Ничего, в России пуль на всех хватит. И до Ключарёва доберемся, — произнес человек с настороженным лицом, который до этого сидел незаметно, будто его и не было. Его серые глаза хищно сверкали. Все снова замолчали, но на этот раз тишина была не внимательной и воодушевленной, с которой они слушали Гафури, а присмирившей, растерянной.

«Это они и есть те самые бунтовщики! — догадался Нахретдин и чуть не поперхнулся. — Они устроили мятеж в Уфе. Вот где, значит, затаились! Чинно сидят за чаем. И брат принимает их у себя. Потому он их и защищал! Он один из них!»

Нахретдин лихорадочно соображал, что ему делать. Если уйти прямо сейчас, то они заподозрят, что он побежал за городским, и убьют его. А если останется, попадет в их сети. Так или иначе сгинет.

От предчувствия беды и жалости к себе набежали слезы, не хватало еще заплакать перед ними. Надо тотчас же седлать коня и ехать домой из этого страшного города! Он рывком скинул руки брата с плеч:

— Устал я, Тунгатар-ага, спать пойду.

— Как спать! Ты что! Скоро Гафури будет читать новые стихи.

— Сказал же, я устал.

Он поднялся, с грохотом отодвигая стул, и, ни слова не говоря, направился к двери. Тунгатар виновато улыбнулся гостям, сел на его место. В прихожей Нахретдин прислушался. Беседа понемногу возобновилась, на его уход никто не обратил внимания. Он сел на сундук в прихожей недалеко от дверей в гостиную.

— Нет, нельзя отрекаться от надежды. Если праведные халифы смогли устроить свое государство по законам ислама, неужели мы не сможем? Как говорит Камали...

Нахретдин не верил своим ушам. Бунтовщики заговорили о законе — да так верно и складно, как хотел бы сказать он сам, но не находил слов. До глубокой ночи, пока гости не разошлись, Нахретдин так и просидел на сундуке, подслушивая. И ему казалось, что в этот вечер, за дверями гостиной, решается судьба Уфы, всего исламского мира и его собственная.

Возвращение души (декабрь — апрель 1908 г.)

Когда Ибрагима везли из больницы домой, снег лежал в окрестных долинах. Его еще сдувало ветром с вершин холмов. Но скоро и там с головой потонут в сугробах сухие стебли лабазника, а если зима выйдет обильной, то скроются и зонтики пижмы. Тяжкое время наступает для лошадей, им придется много трудиться, чтобы добыть корм: вытоптать сугроб, вырыть остатки снега мордой, добраться до колкой, ледяной травы.

Отец правил молча. Валил крупный снег, залепляя глаза Ибрагима, как повязкой. И его снова охватила ненасытная тоска. Он вспомнил, как впервые увидел себя со стороны в отражении больничного окна и не узнал этого чужого юношу с землистым лицом. И крупный лоб, и скулы, плотно подпиравшие беспокойные глаза, и круглый выступ подбородка — все было незнакомо. Правда, в них угадывались черты Алмабики, но ведь Ибрагим всегда думал, что больше похож на отца. Черным стрижом распахнулись брови над переносицей. Жестко торчали во все стороны отросшие волосы. Под скулами темнели квадратные впадины — тревожные тени болезни. Неужели тот человек в отражении — это он? Нет, тот совсем другой. Кто он, где я, кто я?

Напрасно Ибрагим надеялся, что вернется в нутро мира, сольется с ним, как только прозреет. Теперь он ясно видел отъединение ото всего, даже от собственного тела.

Почему вместе с выздоровлением его жизнь не пошла по-прежнему? Куда подевался старый надежный мир? Отчего зрение ему вернул этот доктор из иноверцев, а не чистая молитва, не заступничество верных сахабов самого Пророка (мир ему и благословение)? За кем тогда истина — за муллой или за русским доктором? А что если доктор был даже не человеком Книги, а из неверующих? Тогда Ибрагим выздоровел случайно, а не по воле Аллаха. Тогда Аллаха вовсе... Но тут становилось до того жутко, что он не позволял себе думать дальше.

Эти вопросы терзали его всю зиму — на конюшнях, за трапезой, в молитве. А особенно по вечерам, когда свет лампы бил в голый угол, еще недавно скрытый занавеской, — после похорон дочери Арслан с Муслимой съехали в свою избу. Единственным напоминанием о Шамсии был крюк для люльки, торчащий из потолка. От него падала на беленые доски длинная тень, будто смерть манила сверху черным костлявым пальцем.

Ибрагим хотел было спросить у Нахретдина: вдруг он найдет ответы в Коране? Но брат совсем помешался после мартовской поездки в Уфу — к нему было не подступиться. Привез с собой кипу книг и газет, читал их все время, свободное от работы, ничего не замечая и не слыша. Возбужденно думал о чем-то, трещал костяшками в забыты, точно хворост в печи, время от времени вскрикивал: «Вот оно как!» или «Надо же!»

Меж тем зимний морок таял. Солнце прибывало. Небо налилось светом. Грачи рассыпались по нему семенами черного тмина, будто кто-то большой и невидимый перебрасывал их с одной ладони на другую. Наступило время грачиного пира — праздника поминовения умерших.

Фаррах учил сыновей, что после смерти есть два пути: джаннат — рай для праведников, и джаннахам — ад для грешников и неверных. Но Алмабика тихо добавляла, что по весне души покидают ад и рай и возвращаются домой с первыми

стаями грачей. Кружат над Нарыстау, откуда когда-то черпали святую воду, летят по окраине деревни, садятся на высокие ветки и высматривают родных. Под их священный грай передают земле семена пшеницы, ожидая по осени благодатной жатвы и многократного воскресения.

Ибрагим следил за птицами, которые с шумом устраивались на летний постой, и больше не верил, что чинные праведники оставят джаннат ради этого гомона. А если джаханнам так грозен, как рассказывал Курбангали-имам, то вряд ли он отпустит своих пленников.

В драчливой суете грачей было что-то ребячливое. Наблюдая за ними, Ибрагим понял: это души детей, которые еще не успели ни согрешить, ни стать настоящими мусульманами, после смерти очутились на воле между раем и адом. Будто, не поняв перемены, не замечая своего траурно-черного облачения, они вернулись домой, беззаботные и крикливые.

Там, среди грачей, наверняка были и трое спутников беспечного детства Ибрагима: проныра Султанмурат с хитрым прищуром, придумщик и сказочник Яныбай, незлобивый толстяк Ахметзян. Свидетели его чистоты, участники его безобидных проказ, узнают ли они Ибрагима в этом испорченном теле грешника? Неужели когда-то он был, как они, — легкий, озорной, будто весь собранный из кислых пузырьков кумыса?

Ибрагим помнил яснее, чем вчерашний день, как их ватага собиралась в последний вечер посевной. Как носились по улицам Ильсегулово, скликая женщин и детей на праздник. Как вовсю дурачились, обедались сладким и, щедрые от дармового изобилия, рассыпали грачам кашу. Не задумывались, для чего так принято. Не ощущали горький привкус поминального угощения.

Но один за другим его приятели оказались по другую сторону этой трапезы. Ахметзян упал с лошади и свернул шею, Яныбай скончался от холеры, Султанмурата забил насмерть собственный отец. Пусть Всевышний был четырежды прав, наказав Ибрагима за дерзость, но за что Он отнял жизнь у них, безвинных?

Весь вечер Ибрагим прислушивался к голосам детей, что ходили по деревне, зазывая на пир. Ему самому по возрасту не полагалось участвовать в процессии. А его друзья так и не доросли до совершеннолетия. И никто в толпе этих новых детей не подозревал, что те трое были, жили и бегали по тем же улицам, произносили те же слова.

Ибрагим со снисходительным видом старшего вынес мальчишкам крупу для грачиной каши, стараясь не выдавать печали: своим друзьям он собрал это угощение, тем, что погибли, не успев понять, что смертны.

На утро матери и сестры встали до рассвета, взяли горшки с маслом и кувшины с молоком и отправились на гору. Ибрагиму было велено принести самовар и берестяной короб, полный пышек и творожных шанежек. Он изо всех сил торопился исполнить все до начала чаепития, иначе по традиции придется напяливать женское платье и изображать девицу. Его приятель Зариф с удовольствием проделывал это, даже тальянку брал с собой и наигрывал танцы. На все готов был пройдоха, чтобы получить угощение. Но Ибрагим таких шуток не терпел.

На вершине уже горели костры и женщины варили в котлах кашу. Ибрагим поскорее оставил короб и самовар на расстеленной скатерти, побежал в сторону низкорослого лесочка за поляной, чтобы его не заметили. И увидел Гюльназ.

Она осторожно брала в руки неоперившиеся ветки деревьев, похожие на голые крылья птенцов, и нанизывала на них цветные лоскуты. Свой платок она откинула

назад, чтоб не мешал, и серьги из серебряных монет и кораллов весело раскачивались из стороны в сторону, издавая родниковый звон. В отсутствие людей с ее лица спала мрачная тень покорности, положенной по шариату. Оно светилось нежностью и покоем.

Гюльназ потянулась к дальней ветке и случайно поймала его взгляд. В этот миг Ибрагим отнял ее у земного круговорота, как некогда отпал от него сам. Она еще не знала, что отделена от мира одним его взглядом. Их стало двое. Они смотрели друг на друга, будто впервые встретились. Единственные на всей земле.

— Гюльназым! — позвал он и замолчал: он не придумал, что говорить дальше, да и не стоило бы. И без того он мог обречь ее на позор: они стояли так близко друг к другу, наедине.

Она спохватилась, завернула лицо в платок и отступила.

— Прости! Я не хотел тебя пугать, — сказал Ибрагим робко.

— Уходи, не то крикну.

Он знал, что это пустые угрозы. Если все сбегутся, ей же будет хуже. Но дразнить ее, как прежде он дразнил всех девчонок в округе, не стал. Отвернулся и прошел чуть дальше, к белому камню, что костью торчит из рваной раны земли. Он спрятался за ним и стал наблюдать.

Явился Зариф в криво повязанном платке и драной юбке. В этот праздник ряженому позволялось нарушать женскую границу, безнаказанно приближаться к любой из девушек, словно с юбкой к нему переходила часть их сущности. Зариф шел, вихляя бедрами и выпячивая грудь. В его быстрых руках послушно растягивались и сжимались красные меха тальянки. Заслышав его игру, Гюльназ побежала к подругам. Девушки пустились водить хоровод. В ту минуту Ибрагим возненавидел Зарифа. Гюльназ плясала под его тальянку, смеялась над его выходками.

— Только подойди к ней! Убью! — простонал Ибрагим и разбил локоть об острый каменный выступ.

Пророчество о сыне (апрель 1908 г.)

Едва окрепнет жеребенок, отлучают его от кобылы и привязывают на весь день к колу на задворках. Если он не выдержит дождей и зноя на пресной вытоптанной траве, то длинную зиму с тягостными тебенёвками¹ не переживет и подавно. Только поздним вечером мать пускают к нему на ночное кормление. А с утра он снова стоит один-одинешенек под беспощадным небом, надеясь только на выносливость своего сердца.

Так Ибрагим томился жаждой по Гюльназ и старался увидеть ее хоть мельком. Поджидал подле колодца, высматривал на мостках у Демы. А она, как нарочно, в его сторону даже не глядела, высоко поднимала голову, горделиво усмехалась — этой скудной пищи ему не хватало, он совсем обессилел.

Оттого ему не хотелось уезжать на конный базар в Уфу. Как прожить несколько дней вдаль от нее, если он едва терпел сутки?

¹ Тебенёвка — зимняя пастьба, самостоятельная добыча лошадьми корма из-под снега.

Дорога до Уфы будто пролегла через степную засуху.

— Гюльназ, Гюльназ, — шептал Ибрагим, чтобы смочить губы ее благословенным именем.

Ночью, когда они спешили и помолились, и он мечтал поскорее увидеть Гюльназ хотя бы во сне, принесла нелегкая странного человека. Ибрагим сперва принял его за конокрада. И не он один: Нахретдин угрюмо смотрел на непрошенного гостя. Да и отец, вынужденный разделить ужин с подозрительным путником, особой приязни ему не выказывал.

В самом лице Еремея было что-то отталкивающее — то ли болезненная худоба, то ли по-детски плаксивое выражение. Но взглядом он даже походил на Ананьева: смотрел скорбно и надменно, как посвященный в тайну. И надо было этому человеку рассказать ту же историю, что и доктор. Откуда он узнал ее? В его пересказе она стала еще непонятнее. Будто дневной свет пробился сквозь щель в душу Ибрагима. Света этого было достаточно, чтобы пробудились все прежние тени, на время уснувшие, и слишком мало, чтобы они окончательно рассеялись. Немой от недостатка слов, Ибрагим тщетно пытался спросить. Но о чем? Что мучило его? Он был не в силах это передать ни по-башкирски, ни тем более по-русски.

Ибрагим еще больше смутился, когда брат резко возразил незнакомцу. Ибрагим верил: по крайней мере, между учеными людьми должно быть согласие в таких вопросах, потому что они ближе стоят к одной истине. А если истина не одна, тогда ее и нет вовсе. Нет ни разгадки, ни выхода из темницы, в которую Ибрагим был кем-то помещен и осужден на смерть.

Когда Нахретдин наконец уснул, Ибрагим подошел к Еремею. Тот молился, время от времени задремывая. Ибрагим тихонько тронул его за плечо:

— Я с Богом спорил. Он меня слепым делал.

— Это как же? — Еремей оглядел его с любопытством. Ибрагим сбивчиво, путая русские слова, рассказал о страшной звездной ночи. Еремей слушал пытливо, то и дело переспрашивал его о том, что прежде казалось Ибрагиму неважным. С каждым его словом лицо бродяги проникалось страхом узнавания — так на очной ставке преступник смотрит на свидетеля, который может его выдать.

— Не так ли наш патриарх Авраам узрел звездное небо в ночь, когда Создатель заключил Свой завет с ним? — прошептал Еремей и перекрестился. — Не так ли несчастный Иов добивался ответа от Бога? Не так ли Иаков боролся с Господом?

— Авраам? Надо говорить Ибрагим! — поправил его Ибрагим, услышав исковерканное имя пророка, в честь которого был назван. От Нахретдина он слышал, что люди Книги тоже веруют в мусульманских пророков, но по своему умыслу переименовывают их имена и жизнеописания.

— Ибрагим, — повторил Еремей задумчиво и вдруг схватил его лицо в свои шершавые, пахнущие псиной ладони, внимательно оглядел. — Откуда ты такой взялся?

— Из Ильсегула пришел, — ответил Ибрагим растерянно. Еремей отпустил его. Ибрагиму показалось, что слезливый взгляд бродяги оставил на его коже влажный след, и вытер щеки.

— Ибрагим, значит, — голос Еремея снова пошел нараспев. — Велико было искушение Авраамово. Достанет ли тебе сил одолеть его?

Ибрагим покачал головой — он не понял ни слова. Еремей проговорил медленно и гневно:

— Чтобы справиться с испытанием, ты должен верить!

— Верить? Как верить?

Бродяга пропел заученным причитанием:

— Веруй, что через Сына получишь ты спасение от греха. Вот суть нового завета с Богом. В Нем переступишь смерть и будешь иметь жизнь вечную. Ибо жертвой Своей искупил Сын...

— Что за шум? — пробурчал Фаррах.

Еремей съехался, опустил голову и снова начал молиться. Ибрагим дернул его за рукав:

— Какой ибожертвой? — переспросил он шепотом.

Еремей не откликнулся.

— А ну, тихо! — приказал Фаррах. — Кто говорит?

— Это я. Нахретдина разбудить хочу. Его очередь лошадей смотреть! — соврал Ибрагим с досады. Он растолкал брата и устроился в телеге.

Долго ворочался, стараясь не смотреть вверх. Но глаза невольно тянулись к небу. Так оборачиваются на долгий прямой взгляд в спину. Впервые с той злополучной ночи он осмелился посмотреть на звезды. Вышний свет был все так же далек, но будто смягчился.

— Значит, Ты простишь меня, если у меня родится сын? Тогда примешь обратно? — спросил Ибрагим.

А про себя обреченно думал: «Неужто так просто? Эх, да ведь Еремей не знает, что за грех я совершил. Чтобы такой исправить, у меня должно быть столько сыновей, сколько звезд на небе!»

Небо сочувственно молчало. Ибрагим вменил это Богу в обетование.

Они отправились в путь до зари. Фаррах правил, Еремей сидел на телеге с самого краю, его собака, тьявая, едва попевала за ними. Братья погнали лошадей. Нахретдин взялся отчитывать Ибрагима за вчерашний разговор. Конь брата шел тряской рысью, оттого голос его дрожал и подсказывал:

— Вот ты вчера развесил уши, обольстился хитрыми словами неверного. Праведному мусульманину нечему учиться у христиан. Наоборот, это ты должен учить их, ведь Коран есть истинное откровение Всевышнего, а Писание всего лишь пересказано людьми. И люди его извратили. Тебе повезло родиться в истинной вере, а ты спешишь променять золото на медь? Запомни: тот, кто предаст свою веру, не только себя предаст, но и отца, и свой род, и землю. Он недостоин жизни!

Ибрагим догадывался: брат распинается не ради него. Слова Нахретдина обращены к гостю. Так он продолжает ночной спор с ним, пытается отвоевать земли, которые вчера уступил. Да и не от себя Нахретдин говорит, а повторяет чужие речи, которым выучился в Уфе. Ибрагим только усмехался. Кто разберет, какова вера его предков, если до сих пор его родня ходит пред Богом двумя путями: исполняет законы шариата и верит в бурзянские обряды. И не задумывается, какой куда выведет.

А Ибрагим уже уразумел, что Всевышний готовит для каждого свой неведомый путь. Самому человеку не дано его выбирать или от него уклониться. Старые слова из старых книг больше не впечатляли Ибрагима: они ничего не весили против его собственного знания о Боге.

И тут Ибрагим вспомнил о Гюльназ и все понял. Вот что связывает их. Она часть его предназначения. Ей суждено выносить его сына — его бессмертие. Все сложилось в единый путь назад в джаннат, откуда Ибрагим сам себя изгнал. Каждый шаг не был случаен. И на ярмарку он поехал не зря. Он сам должен повести торг, чтобы Фаррах узнал, какой из него выйдет хозяин: и на калым заработает, и семью будет содержать в достатке. Тогда отец отправит к Гюльназ сватов.

Конокрад (апрель 1908 г.)

Весенний базар у берегов Белой уже не был большим событием, на которое в прошлом веке съезжались со всех концов империи. Слева его теснила лесопилка, справа — новая деревня. От просторных заливных лугов осталось небольшое поле, которого едва хватало на всех. Не то что прежде, когда кочевники разных племен пригоняли сюда целые табуны. Основная ярмарка уже давно переместилась на Верхнеторговую площадь. Только раз в год с открытием судоходного сезона, когда баржи с товаром останавливались у Оренбургской переправы, разворачивался базар, прозванный теперь «нижним».

Ибрагим любил его запах, замешанный на прели древесной стружки, холодном речном воздухе, сладком духе калачей и жженого сахара от лоточников. Он дивился разным лицам и нарядам людей. Ревниво осматривал лошадей всех пород и мастей, стоявших у коновязи, приценивался. Как бы ни были изящны мышастые скакуны, их тонкие ноги, шеи с высоким выходом, бархатные, лоснящиеся спины, но по его рассуждению они годились только на всякие фигуры и трюки. Лошади Фарраха, хоть и коренастые, широколобые, с плотной короткой шеей, грубой шерстью, зато крепко сбиты, не уступают в резвости, а на длинных перегонах — куда выносливее. К тому же отец учил его судить о лошади и по тому, как сможешь с нее прокормиться, вдоволь ли возьмешь молока и мяса.

Нахретдину торг был скучен, он все поглядывал на высокий каменный выступ уфимского берега и зевал. А в Ибрагиме разыграло особое вдохновение. Фаррах не встречал, дал сыну испытать себя. Ибрагим сам себе радовался: откуда взялась та удаль, с какой он расхваливал коней покупателем? То он принажмет на спину — лошадь не прогибается, не дергается от боли, стоит прямо; то пустит рысью — та не хромает, дышит ровно и несет седока охотно. Сами собой приходили на язык нужные слова:

— Смотри, постав какой! Смотри, копыта сухие, гладкие, опоя нет — бед не узнаешь! Обезженный конь, сильный! Самому жалко отдавать!

В чем не доставало у Ибрагима опыта, брал чутьем. Так продал молодую пару верховых и одного упряжного коня. Оставались два иноходца, за которых Фаррах надеялся выручить на учебу Нахретдина. Эти добротные скакуны, годные для кавалерийской службы, стоили больше ста рублей за каждого. Отец нацеливался на покупателя военного чина — тот согласится на достойную цену; прочих зевак отгонял подальше. Ибрагима он отстранил, сам взялся торговать дорогих коней, оставив себе в помощники Нахретдина, а его отправил за горячим чаем и сдобой.

Ибрагим без интереса поплелся вдоль лавок, забыв, за чем посылали. Его старания на торге пропали напрасно, отец не доверяет ему, держит за ребенка. В самом важном деле Фаррах положился на Нахретдина, которому нет никакого дела до иноходцев.

Дымка обиды разъела глаза. Ибрагим едва не споткнулся о выставленные у торговых рядов птичьи клетки. Куры распахнули крылья, запрыгали из угла в угол, гуси зашлись испуганным хохотом. Тяжко завозились индюшки — им в тесноте не хватало места, чтобы вдохнуть полной грудью и громко крикнуть. Эти странные крупные птицы напомнили Ибрагиму замужних башкирок в праздничном наряде. Маленькие головы и шеи без оперения были покрыты красными бугорками, словно одеты в коралловые шапочки кашмау. От клюва тянулся алый фартучек в седых наростах —

точь-в-точь хакал¹, расшитый монетами. Тела распухали от серо-изумрудных перьев — такими же пышными смотрелись под еянами фигуры зрелых женщин. И сидели скученно, своим отдельным кружком, как жены на сабантуе, опутив морщинистые усталые лица. Их рабские глаза были полны печали.

Такой стала его смешливая сестра Хадиша после того, как ее выдали замуж: сгорбленной ходила по воду, не поднимая головы, будто платок на ней был из гранита. За пару месяцев потемнела, состарилась. И Муслима пришла к ним в дом совсем другой — разговорчивой, веселой. А теперь едва ли услышишь ее голос из Арслановой избы, даже в день поминания усопших она плакала по Шамсии беззвучно, без стонов и всхлипов.

Неужели гордая Гюльназ переродится в эту плененную птицу, сокрушенную под чужой властью, отупевшую от работы и унижения? Мечтая исполнить через нее свой завет с Создателем, Ибрагим ни разу не подумал о том, желает ли она того же. От такого сватовства ее семья ни за что не откажется, сломят волю Гюльназ и продадут ему. Топчи ее, разрывай девичьи бока в страстной жажде бессмертия.

Он передумал покупать ей богатый, обязывающий подарок, который расположит к нему ее родню. Решил привезти безделицу ей одной, и пусть никто об этом не узнает. Прохаживаясь у турецкой лавки с изюмом и специями, он увидел плоды, размером с яблоко, яркие, как июльское солнце ближе к закату. Они пахли остро и кисло, как молодой кумыс. Ибрагим не поскупился, купил целых три — будет лакомство для Гюльназ, и спрятал за пазуху. Только по пути назад он вспомнил про сдобу.

К его возвращению Фаррах продал одного из иноходцев.

— Ничего, и второй уйдет, — кивал он, довольный сделкой. — Не сегодня, так завтра. Дорогого покупателя нужно выждать. Уважайте свой товар, дети, не скупитесь на терпение!

Ибрагим вздохнул: придется оставаться на второй базарный день.

— Отец, отпустите в город до вечера! — попросил Нахретдин. — На сегодня торгу конец, а мне надо сбежать за книгами.

Фаррах согласился. Ибрагим топнул ногой в пыль: «Вот, значит, как! Это Нахретдин затянул дело, чтобы в Уфу сходить!» Если бы отец доверил торг ему, а не брату, они бы уже сейчас ехали домой с хорошей выручкой.

Солнце тяжело, клонилось к земле, воздух остывал. Обманчивая весна, что весь день прикидывалась летом, к вечеру задышала по-зимнему. Торговля шла на убыль. Приезжие покупатели и торговцы устраивались у своих телег. Прочий народ торопился на плашкоутный мост, пока не разобрали настилы и не отвели в сторону плоскодонки, чтобы пропустить суда. А Нахретдина все не было.

После ночи перегона и целого дня на ногах Фарраха разморило, он прикорнул, оставив Ибрагима смотреть за лошадьми до прихода брата. Подле них стояла кибитка калмыцких конезаводчиков, те готовили на костре пахучее варево. Ибрагим с завистью смотрел в их сторону, голодная дрожь пробегала от живота по всему телу. Один из сидевших у огня, в диковинной шляпе, обернулся на его взгляд и кивнул. Ибрагим спрятал глаза, но тот уже шел к нему.

— Голодный, а? — он протянул ему кусок хлеба. Руки незнакомца были смуглы, крупные ногти казались почти белыми. Темное лицо маслянисто блестело, лоснилась двурога борода. Его большие глаза были до того черны, будто их не было вовсе — только две дыры над скулами. На калмыка он совсем не походил. И одет был дорого,

¹ Хакал — традиционное украшение башкирок в виде нагрудника, расшитого кораллами и монетами.

по-городскому: под бархатной курткой блестела едко желтая рубаха, широкие брюки заправлены в крепкие сапоги. Серебряная цепочка часов торчала из кармана.

— Спасибо! — кусок чужого хлеба кисло и шершаво сполз по горлу Ибрагима.

— Что, никак не избавишься от своего недоростка? — он с усмешкой сплюнул в траву. — Не покупают коня?

Ибрагим растерялся, из головы сразу выскочили все слова, которыми он сегодня так щедро осыпал покупателей.

— Ты что? Это юрга! Юрга! — он забыл, как сказать по-русски «иноходец».

— Как ни называй, я-то вижу: бестолковый конь.

Обветренные щеки Ибрагима запыхали от оскорбления, он рывком освободил узел с коновязи, собрал веревку в кулаке, оседлал скакуна и провел его шагом перед богачом:

— Смотришь, как идет? Как ноги ставит?

— Так он у тебя еще и на правую припадает. Хромой!

— Как хромой? — Ибрагим готов был сорвать с головы бурек¹ и запустить им в богача.

— Ты дурачком не прикидывайся. Калекой уродился твой конь или заездил кто? А может, тут незаметно подпортили завистники? Вон из тех калмыков? Они известные злодеи.

— Где? — Ибрагим засомневался: неужели повредили коня?

— А я тебе говорю. Слезай, сам погляди, если не веришь!

Ибрагим спешился, немного отпустил веревку, намотал ее конец на правое запястье, слегка хлестнул скакуна и причмокнул. Конь послушно пошел вперед, поглядывая на Ибрагима: попевает ли за ним, будто боялся потерять из виду. От сердца отлегло — конь переставлял попеременно обе правые ноги, а затем обе левые, не заваливаясь на сторону.

— Ровно идет! — Ибрагим понял, что богач над ним подшутил.

— А ты сюда присмотришь! — тот обогнал коня и стал указывать на переднюю ногу. Ибрагим пошел смотреть.

В этот миг богач прыгнул — почти взлетел на коня, изо всех сил дал ему в бока железными каблуками сапог. Конь взвился, заржал, пытаясь скинуть жестокого наездника. Но богач держался крепко, будто врос в его спину. Ибрагим дернул за веревку, чтобы подтащить коня к себе, завалился назад, уперев ноги в землю, и закричал:

— Крадут! Коня крадут!

Богач дернул узды, присвистнул, еще раз ударил коня. Скакун помчался галопом. Веревка сжала руку Ибрагима. Петля, которую он намотал, затянулась. Он упал. Веревка рванула его за собой. Рука его распрямилась, плечо сахарно хрустнуло. Распустить петли он не мог. Сообразил только ухватиться за веревку другой рукой, чтобы ослабить давление на кисть. Калмыки повскакали с настилов, к ним побежали люди с других стоянок.

Конь несся быстро, выгибая шею, неистово качая головой — веревка, на которой болтался Ибрагим, натирала коню шею. Вор тшился развязать узел, вгрызся в него зубами. Ибрагима швыряло из стороны в сторону перевитая ладонь налилась синевой. По каменистой дороге Ибрагима разбило бы сразу, повезло, что вор погнал коня по траве. Но и в поле попадались твердые бугры от прошлогодних борозд, колотило по плечам, груди, ногам. Наконец, узел поддался, вор сбросил веревку с шеи коня. Все замерло. Земля остановилась.

¹ Бурек — традиционный головной убор башкир в виде шапки с меховым околышем.

Другой человек (апрель 1908 г.)

— Тебя не узнать! — всю дорогу хвалился Тунгатар, оглядывая Нахретдина. — Другой человек!

— Еще бы, Тунгатар-ага! Спасибо! — Нахретдин кивал, хотя ему было тесно в другом человеке. Он едва успевал за братом. Брюки были узки, не пускали на привычно широкий шаг. Ткань крепко обхватывала плечо, когда он пытался поднять руку, чтобы придержать тюбетейку, срываемую ветром. В тугом жилете было тяжело дышать. Сюртук сковал спину: повернуться он мог только всем корпусом, неловко переступая ногами, или одной шеей, но ее тут же подрезал высокий жесткий ворот.

Наконец они подошли к парадному фасаду дворянского собрания. Нахретдин неловко поднялся на ступень, запнулся, раскинул руки, ловя равновесие, швы сюртука угрожающе скрипнули.

— Надо было камзол... — забубнил он и смолк, едва подняв голову. Изнутри здание казалось больше и выше. Оно росло и множилось колоннами, лестницами и галереями. Нахретдин никогда не видел, чтобы лампы горели так по-солнечному ярко. С потолков свисали многоплодные гроздья света на золотых ветках. Приглушенные голоса поднимались до высоких сводов, складываясь там в ровный гул.

— Смотри, вот и наши богатеи. Гласный Уфимского земства Джантюрин, братья Каримовы, те, у которых типография. Семейство Хакимовых, Шамгулов с дочерьми, — говорил Тунгатар сквозь усмешку. Но ехидство, с которым он произносил эти имена в собственной гостиной среди друзей, тут давалось ему плохо. Его желтоватые глаза сияли, как сливочное масло, тающее на горячей медовой лепешке.

Нахретдин и сам поддался очарованию нарядного, залитого изобильным светом круговорота. Образ «бессовестных баев», которых Рашид Гали вдохновенно обличал за столом у Тунгатара, никак не соотносился с этими почтенными лицами. В его воображении они были похожи на Кузякбая Биккулова — пухлые, недалекие, с перепачканными бараньим жиром бородами. А к этим благородным, статным фигурам он не испытывал обещанной «классовой ненависти».

— О, тебе повезло! — воскликнул Тунгатар. — Сыртланов приехал из Петербурга. Видишь того высокого человека во фраке?

— Где?

— Вон, справа от Джантюрина. Никак снова гостит у тестя. Я тебе не говорил — он женился на дочери генерала Махмуда Шейх-Али? Того старика в пенсне. Гляди, как Амина-ханум заважничала. Еще бы, теперь она столичная дама, не чета нашим уфимским барышням. — Тунгатар кивнул в сторону худощавого мужчины с фигурно остриженной бородкой и усами, держащего под руку хорошенькую девушку. Волосы ее были пышно убраны, а платье, несмотря на простоту и строгость, выглядело не по-здешнему роскошно.

Сыртланов говорил, улыбался, но его глаза, исполненные то ли надменности, то ли печали, оставались безучастны к собеседникам. Нахретдин бы многое отдал, лишь бы узнать тайну этого задумчивого лица. Вот перед ним блестящий знаток не только фикха, но и русского закона, человек права — его идеал. С его происхождением, образованием и богатством он мог бы быть выдающимся мусульманским судьей, но по непостижимой причине выбрал карьеру адвоката, да еще у неверных, поставил

жалость к ничтожным грешникам выше божественной справедливости. Столько знаний и таланта потрачено не просто впустую — во вред.

Нахретдин пенял ему не за один только трибунал по Порт-Артуру, когда стараниями Сыртланова ненавистные русские военачальники избежали заслуженной смерти. Никакой грешник, будь то неверный или фасик¹, не достоин ходатайства ни на человеческом, ни на небесном суде. И все же Сыртланов, занятый таким презренным делом, достиг не меньшей славы и уважения среди старейшин уфимской губернии — эта загадка не давала Нахретдину покоя. А в сравнении с судьбой Сыртланова его собственные мечты представляли и вовсе убогими, как старый камзол рядом с братовым сюртуком. Хорошо, что Тунагатар убедил его переменить костюм. Но можно ли скрыть за городской одеждой свою ничтожность?

Нахретдин попятился и едва не столкнулся с высоким подтянутым шакирдом, стоявшим в золоченой арке, которая вела в другой зал. Он уже лепетал извинения, когда понял, что этот шакирд и есть он сам.

Он расправил плечи. Смелее вошел в круг приятелей Тунгатара, снисходительно принимая их удивленные приветствия: «Ба! Неужели это тот самый Нахретдин? Каков!» Он поджимал губы, чтобы улыбка вышла поскромнее, сводил брови, примеряясь к серьезному лицу Сыртланова.

После звонка поднялись в зал, уставленный рядами стульев. Из-за тусклого света и тяжелых гардин, скрывавших окна, его глухое пространство походило на древнюю пещеру. Гирлянды гипсовых цветов на стенах и потолке не парили невесомым кружевом, как в вестибюле, а громоздились соляными наростами. Публика рассаживалась лицом к большому проему, занавешенному плотным темно-красным бархатом и подсвеченному снизу. Казалось, все смотрят в разинутую пасть огненного змея.

В зале стремительно смеркалось. Только перегородка горела по-прежнему ярко. Соседи Нахретдина коротко и негромко переговаривались, оправляли одежду, откашливались. Когда совсем стемнело, наступила тишина.

Нахретдину стало так странно в нарочитом, почти ритуальном молчании, что хотелось закричать. До зуда в горле. Он посмотрел по сторонам. Все вокруг были спокойны, даже торжественны, никто не тревожился.

Заиграла мандолина — куплет из татарского романса. Перегородка разделилась надвое. Части ее медленно поплыли в разные стороны. За ней открылась обыкновенная комната с комодом, письменным столом. Слева окно, не излучавшее никакого света, хотя в нем просматривался дневной пейзаж. В стене — проем в черноту. Нахретдину вдруг подумалось: «А если забраться в ту комнату? Что будет?»

Фальшивая долина в окне заколыхалась, когда по комнате зашагал худощавый старик, — так дрожит полоска леса в испарине тающего снега. Музыка смолкла.

Старик размахивал руками и восклицал:

— Невежество! Невежество!

Громко стуча каблуками, в комнату вошла женщина в барском платье и вышитом платке поверх тюбетейки. Лица обоих были белые, иссеченные серыми морщинами, омертвелые, как из глины. Они долго спорили, но не друг с другом, а будто бы с залом — они все время поворачивались к публике и смотрели на всех сразу и как бы сквозь них.

¹ Фасик — мусульманин, пренебрегающий выполнением основных положений ислама.

Женщина скрылась, появилась девушка. Она назвала старика отцом, заговорила с ним, плавно расхаживая по комнате, отчего юбка, пылающая пронзительным синим, сухо шуршала. Нахретдин вертел головой вслед ее движениям, забыв про острый край воротника.

Девушка была бледна, глаза и брови густо подведены, как у фарфоровой статуэтки в лавке Шамгулова. Трепетала красная бабочка рта. Она смела высказывать отцу невообразимые дерзости:

— Если б я полюбила кого, я б тебе сказала... А то нет еще... Этот молодой человек уж очень необразован. И ты, отец, мог подумать?

На что старик не ударил ее и даже не закричал, а ответил робко, чудно:

— Ну-ну-ну, виноват! В последний раз, больше не буду!

Все это безумие Нахретдин мог истолковать только как обряд перевоплощения, вроде тех, что устраивались на бурзянской половине деревни в праздник урожая. Лица ненастоящие, одежда слишком пестра, разговоры нелепы, жесты преувеличенны. Старик и девушка казались уже не вполне людьми — духами, способными растаять, как дымка над горизонтом. Конечно, Нахретдин и не смог бы пробраться в ту комнату, ведь ее вовсе не было.

Живым оставался только этот освещенный квадрат комнаты. Люди в зале замерли, лица обесмыслились. Их уже не существовало — только неподвижные тела на стульях, чучела. Нахретдин и сам перестал чувствовать себя. Единственной его заботой стала тревога за ту девушку. Он и думать забыл, что несурзная ситуация, в которую она попала, невозможна ни по каким положениям шариата или простым традициям выкупа невесты. Неведомым образом он оказался внутри той комнаты и теперь жил по ее нелепым законам.

Половины перегородки снова сошлись. Бурлящий грохот прокатился по залу. Нахретдину послышалось, будто талая вода выбивает мелкие камни, слетая со скал. Он вернулся в себя, захлопал вслед за остальными. В зале зажегся свет, перегородку открыли, за ней стояли все те же старик, девушка, юноша, женщина; они улыбались, и за нарисованными масками проглядывали совершенно другие черты. Подносили корзины цветов и ставили прямо к их ногам. Комнаты больше не было, она превратилась в продолжение зала, увешанное разрисованными тряпками.

— Что, пойдём поблагодарим! — Тунгатар хлопнул Нахретдина по плечу.

— Кого?

— Сахибджамал-туташ, конечно!

— Ах, да! — только теперь Нахретдин узнал в девушке со сцены ту самую актрису, которая так возмутила его в гостях у Тунгатара.

— Э, брат! — засмеялся тот. — Говорил же: тебе понравится в театре!

Он потащил Нахретдина за руку через какие-то лестницы, арки, коридоры с множеством дверей. У одной из них уже толпились люди. Тунгатар остановился, взбил складки шейного платка, подкрутил усы, достал из кармана бумажный кулек, в котором оказался крохотный букет ландышей.

— Я не пойду, — неожиданно для самого себя сказал Нахретдин.

— Ну, сам знаешь! — махнул Тунгатар дрожащей рукой и вошел в желтый луч, проступивший в проеме.

Несколько мгновений, пока дверь была открыта, из комнаты лился запах розового масла и ее мягкий голос, который еще недавно звучал со сцены так четко и волнующе, будто она была совсем близко к Нахретдину, как в тот вечер. Теперь и представить нельзя — сама Сахибджамал сидела с ним рядом, а он ничего не понял.

Ради милости мельком увидеть ее люди выстаивают очереди в священном терпении, и ему нет среди них места, он все упустил.

— Дурак, дурак! — ругал себя Нахретдин. Он бы с наслаждением отхлестал себя по лицу.

Когда вышли из театра, мир стал другим. Все в нем оказалось полно жизни, она ветром носилась над землей, поднималась к облакам.

— Смотри-ка! — Тунгатар шелкнул крышечкой карманных часов. В модном наряде он больше напоминал приказчика. — А мост-то убрали.

— Разве?

— Девятый час. Да чего ты испугался? Заночуешь у нас, а утром перейдешь реку.

— А если по железной дороге?

— Зачем? Оттуда часа три ходу, Бельский берег по другой стороне — заросший, болотистый. Вернешься только ночью.

— Ну и пусть.

— Что за глупости! Оставайся, расскажешь, как тебе спектакль.

— Про это я говорить не сумею. Понравился, чего ж еще. Спасибо, Тунгатар-ага, но я переоденусь и пойду.

— Э, барана разве переупрямишь. Шайтан с тобой, иди! Я хоть до моста тебя провожу.

Нахретдин хотел бы идти один, молчать и думать о ней. Наползала тьма. Брат торопил, почти бежал, Нахретдин не старался успеть за ним, он все оглядывался назад.

Проскочив будку обходчика, они распрощались. Нахретдин зашагал по доскам, высланным у самых рельсов. Свет, который река вобрала в себя за день, испарялся белесой дымкой. Мост летел высоко над водой. Его фермы вздымались железными боками огромного змея. Нахретдин шел в его чреве, как батыр из сказок старшей матери. Справа над ним нависала угрюмая гряда с магометанским кладбищем. В черной водонапорной башне на ее вершине он видел страшный силуэт Хозяина горы. Но Нахретдин все равно смотрел туда, на злое профиль склонов. За ними скрывался Ушаковский парк, уфимские улицы, театр. Где-то там по-прежнему звучал ее голос, кому-то посчастливилось сидеть рядом с ней за столом — на пиру у бога Тенгри за семью небесными сферами. Нахретдин спешил к ярмарке, к своему иноходцу, — теперь его конь был крылатым Акбузатом, что поможет ему преодолеть все семь небес. А кем суждено стать ему самому, Нахретдин уже не знал и боялся загадывать.

Золотые яблоки (апрель — май 1908 г.)

Ибрагим утонул в боли. Болью стало все вокруг: профиль Уфы под воспаленным небом, лезвия осоки у висков, выпученные лица людей, склонившихся над ним, и особенно острый крик Фарраха. Отец подбежал и, пересиливая одышку, позвал его. Потом припал к его груди, услышал, что сердце сына все еще бьется, выдохнул «Хвала Аллаху!» и принялся осторожно осматривать его голову, руки и ноги. Убедившись, что Ибрагим худо-бедно цел, он вдруг озлился, махнул рукой и пошел обратно к телеге.

Боль добралась до самой души, когда Ибрагим понял, что отец не простит его хотя бы из жалости. Фаррах окончательно разочаровался в нем. Вор увел не только

коня, но и надежду. Лучше бы заездил его до смерти, чем оставлять тут в безысходности.

Ибрагим помогли подняться, он на кого-то оперся, кто-то поддержал его за пояс, доковыляли до кибиток. Усадили у костра, вправили плечо.

— Вывихом отделался — крепкий!

Сняли чекмень.

— Погоди! Вон у него вся рубаха в крови! Ребро-то, видать, сломалось и насквозь прошло.

Железный запах крови смешался с каким-то остро-сладким ароматом, весь живот его был в бугристых кусках рыжеватой кожи. Все отпрянули и ахнули:

— Брюхо вспорол!

Но это была всего лишь кожа от плодов, которые Ибрагим купил для Гюльназ. Он рассмотрел их как следует. К корке крепилось измятое золотое мясо. Он лизнул его: свежий, медовый с кислинкой сок защищал язык. Гюльназ бы угощение понравилось, а теперь для нее не осталось даже прощального подарка.

С Ибрагима стянули рубаху, чтобы промыть ссадины, и оттуда выкатился последний плод — он чудом завалился за спину и там уцелел. Как утешение. Ибрагим подумал, что не все еще, может быть, потеряно. Загадал: «Если Гюльназ примет яблоко — будет моей женой».

Боль стала глуше, однообразнее. Ибрагим приноровился к ней, усвоил, какое положение тела меньше ее беспокоит, и замер в нем. Фаррах от гнева взбодрился, развел костер, сварил в кипятке остатки казылыка и заговорил с Ибрагимом.

— Дурень! Разбойнику отдал такого коня! Ну молись, чтобы сезон выдался хороший! Каждую копейку отработаешь!

Его слова успокоили Ибрагима: значит, дело еще можно поправить.

Плашкоутный мост разобрали, и поплыли в сумерках, как тени разномастных рыб, мелкие окуньки-катера, пузатые карпы-пароходы и длинные шуки-баржи, попыхивая угольным паром. Нахретдина все не было.

— Уж не в Казань ли он отправился за своими книгами! — ворчал отец. Ибрагим радовался, что часть его гнева перекинулась на брата.

Нахретдин вернулся поздней ночью — мокрый, озябший, сам не свой. Побой Фарраха перенес безропотно, даже с охотой: улыбался и услужливо подставлял спину под глухие удары. Отец, принявший эту покорность за насмешку, пуше распался, сорвал на нем весь гнев, предназначавшийся Ибрагиму. Наконец, его рука устала и выронила плетль. После поужинали и отправились в путь — торг был окончен.

Без отдыха с дороги, не шадя свою боль, Ибрагим занялся работой. И всюду таскал за пазухой золотое яблоко — вдруг Гюльназ выйдет из дому.

Настала пора цветения. Дёма, извиваясь между лугами и косогором, намывала на равнине пойму, которая к середине лета пересыхала и заболачивалась. Но в мае вольготно было реке на этом лежбище.

Вода отражала безудержную небесную синь. Тут и там гнездились на ней крохотные цветы калужницы. Казалось, желтые пучки росли прямо из неба. Или небо затопило лютиковое поле. Здесь вода отдыхала немного, а потом устремлялась дальше, все быстрее и быстрее, с журчанием пробегая по камням. И вместе с ней перетекало небо из широкой ленивой заводи в худой торопливый поток.

За ним следом Ибрагим гнал свой табун, поближе к мосткам, куда Гюльназ приходила за водой.

Берег, на котором стояло Ильсегулово, круто забирал вверх, скрывая за земляным валом ближайшие дома. Густые плети ив занавесили тропинку к реке. Здесь их свидание будет скрыто от любопытных глаз. Гюльназ все не показывалась, но надежда на встречу обновлялась в Ибрагиме каждый день. Как небо наполняло сосуды земли живительной весной, так восторженное предчувствие Гюльназ разливалось по телу Ибрагима, исцеляя раны. И однажды оно сбылось.

Он увидел ее еще издали, когда она спускалась к реке, и тут же направил коня вброд — ей навстречу.

Он заметил с трепетом, что она к нему переменилась — смотрела заботливо и не спешила прогонять. Ее лицо стало пронзительнее, глаза смотрели темнее, словно измученные головной болью. Неужели тревожилась о нем?

— Я слышала, что тебя чуть не извел конокрад. Еле жив остался, — сказала она смущенно.

— Пустяки! Все уже прошло. Лучше посмотри-ка, гостинец тебе привез! Не откажешь принять — я тебя сосватаю!

Она покачала головой, забряцали ее длинные серьги.

— Угощаешь или сватаешь? Что если подарок твой горек на вкус?

— А ты попробуй!

Он кинул ей яблоко, Гюльназ протянула руки. Вдруг сверху засвистели мальчишки. Как им удавалось подкараулить людей в самую уязвимую минуту? Точно клещи, что за много шагов угадывают человека, к которому хотят прицепиться. Полетел золотой шар, а Гюльназ уже в страхе опустила руки, спряталась в платок. Подарок нырнул в воду, выпрыгнул много дальше от мостков и поплыл, крутясь, вниз по реке.

— Ай! — сокрушенно воскликнула Гюльназ.

Ибрагим припустил коня к склону, угрожающе вертя над головой плетью, но мальчишек и след простыл. Он обернулся:

— Раз хотела поймать — считай, приняла. К зиме жди сватов! — пообещал он Гюльназ и отвел табун подальше, чтобы не оставить никаких следов их встречи, если мальчишки все же донесут.

С того дня Ибрагим работал за троих — к его обычным обязанностям и долгу перед отцом добавился калым за невесту. На его счастье дни выдались благодатные, с сытными дождями и обильным солнцем. Ковыль уродился сочный, и кобыльего молока прибыло вдоволь.

Кумысники появились в округе уже в середине весны. Но настоящий сезон всегда начинался с приездом в Александровскую кумысную санаторию доктора из Петербурга. Оттого Ибрагим каждый день молил Всевышнего, чтобы доктор в этом году заехал пораньше.

Кумысников приезжало так много, что большинство, не найдя места в переполненной санатории, селились по всем окрестным деревням в надежде попасть на прием к Рубелю. Кумыс они покупали бойко и пили не строгими дозами, скупно отмеренными доктором, а впрок по несколько бутылок за день.

Весь сезон Ибрагим крутился, как вездесущий шайтан, — успевал окуривать кумысные кадки душицей, запечатывать и развозить бутылки. Он держался одной мечтой о Гюльназ. Старшая мать взялась ему помогать: колдовала и нашептывала над кобылицами, чтобы прибывало молоко, без усталости взбивала кумыс одеревеневшими руками. За лето Ибрагим расплатился с отцом. Подходило время засылать сватов — по согласию Гюльназ, полученному в обмен на золотое яблоко.

Возвращение демона (зима — осень 1910 г.)

«Меж тем дело шло к развязке. Ее четвертой приметой был стук топоров. Зимой и до нас добрались порубки: пошел слух, что отнимают наши вотчинные земли. Многие отправились ломать свои деревья, чтобы не достались новым хозяевам. Выстукивали со звоном тягостный марш казни. Говорливые липы, певучие сосны со стоном валились на землю. Сколько пчелиных семей пропало. Погиб мир древесных духов. Нарушился вечный порядок.

Но я не сокрушалась о нем: этот же порядок велел мне терпеть унижения, забыть мечты и стать женой гадкого, жестокого человека. Сердце с радостью откликалось на звонкие удары. Пусть падет старый мир, пусть обрушится.

Пятой приметой стал огонь.

Как-то ночью подожгли сарай лесника, препятствовавшего порубке. Следом за сараем занялись и его баня, хлев, изба. Я проснулась от голосов сестер и братьев, побежала с ними на улицу. Пламя на окраине деревни было видно издалека. Оно извивалось бешеной лисицей, угодившей в ловушку: валило крыши и стены, с жадным хрустом грызло бревна. Я не могла насмотреться на пляшущее зарево. Ни суета, ни бегодня с ведрами, ни завязавшаяся в толпе склока не отвлекали меня. Я все смотрела и шептала: пуще гори, чтобы вся деревня обернулась пеплом, вместе с лесом, с Талкасом, только бы я была свободна.

Когда хозяйство лесника выгорело дотла, драка сама собой рассыпалась, все разошлись. Никто не пожелал приютить уцелевших погорельцев, кроме Идриса-хазрета. На следующий день явились жандармы, ходили из дома в дом с расспросами, забрали с собой дюжину человек с самых бедных дворов, не разбирая, виновны они или нет.

На время все затаились. Но распря, которая вспыхнула на пожаре, не погасла. Копились обиды и подозрения: кто поджег, кто донес. Припущенники и бедняки злились на вотчинников. Соседи сторонились соседей. Женщин и детей не пускали со двора, да и мужчины выходили на улицу только в короткие светлые часы.

Не верилось, что люди, которые нынче с такой ненавистью боялись друг друга, еще перед кочевкой сидели рядом на летнем празднике, а по осени всей деревней справляли свадьбу у Кутлукильдеевых и продолжали ходить в одну мечеть на пятничную молитву. Только двоих принимали по-прежнему радушно — Юлдаша и Идриса-хазрета. Оба они, как могли, старались потушить вражду.

Улицы опустели и стихли, зато в доме было шумно и тесно: матери, сестры, братья, новорожденные телята и ягнята толклись у очага. К тому же олэсэй не могла упустить такую удачу — столько народу собралось, и никто от ее ругани не сбежит. Придумывала капризы один вздорнее другого. Куда там — писать и учиться. Дневник я забросила, книг не открывала.

Зато к отцу зачастил Юлдаш с пасынком — уговаривал забыть ссору. В те часы я сидела, спрятавшись за занавеской, и смотрела в щелочку на Алдара. Вот он улыбнулся, принял пиалу с чаем, сделал глоток, слегка подпрыгнул его кадык. А дом и после его ухода будет пахнуть знойным сеном, озёрным ветром, будто он все еще рядом.

Смута улеглась, когда иссякла пища, — всё замело снегом. Земля расплачивалась за благодатное лето. Сугробы выросли такие высокие, что лошади вязли и не могли

добраться до мерзлой травы. Бедняки начали разбирать соломенные крыши на прокорм отощавшему скоту. Тогда Идрис-хазрет уговорил богатые семьи поделиться с ними припасенным впрок сеном. Вотчинники шли на это неохотно, но и по спокойствию все давно истосковались. Мир закрепили на деревенском сходе за общей трапезой. А после нам позволили пойти в мектебе.

Как я бежала к абыстай! Будто не из дома, а домой. Не от родных, а к родным. Видать, и она по нам скучала. День возвращения был ясный, классная комната вся светилась. Я разомлела от теплой радости. Скоро весна, затем лето. Я выстояла, я уеду!

Фатанат-ханум уже давно все придумала. К концу лета Идрис-хазрет уговорит отца отпустить меня с ними в Троицк, погостить у родни. На самом же деле, они доvezут меня до Уфы и пристроят там в женское мектебе. Абыстай уже списалась с Марьям-ханум Султановой, невесткой самого муфтия, которая открыла в своем уфимском доме школу-приют для девочек. Сперва я отказывалась — слишком опасен был этот план для муллы и абыстай. Отец непременно обставит это дело как похищение и отдаст их под суд. Не то что прихода можно за такое лишиться, но и в тюрьму угодить. Но Фатанат-ханум настояла на своем:

— Об этом не тревожься. Мы знаем, как все уладить.

По весне, как стаял снег, впервые за долгое время наелись табуны и стада. Подкрепились и люди. Вместе с силами к ним вернулся дух злобы. Раздышались зимние распри, встали на ноги и пошли по деревне. Слухи о новых границах подтвердились. Староста уже получил письмо о приезде межевой комиссии. Собрали сход. Большим числом семей решили не допускать землемеров к работе, чинить препятствия на их пути. Но несколько зажиточных хозяев отказались — и с ними мой отец.

В деревне болтали, что этим отказом мы надеялись сохранить за собой кусок вотчинной земли пожирнее. Но напрасно злословили. То ли трусил отец перед властями, то ли понимал свое бессилие и не хотел гневить их понапрасну, но выгоды своей он не искал. Это я знала точно: как только пришло письмо о комиссии, он взял братьев и отправился в леса забирать пчелиные семьи из уцелевших бортей. Отец сколотил во дворе колоды, и пчелы поселились у нас на дальнем огороде. Мы перестали быть бортевиками.

С приходом землемеров беспорядки усилились. Отец сокрушался:

— Только дурак чинит раздоры летом! А кто работать будет?

Опять прискакали жандармы. И тут за бунтовщиков вступился Идрис-хазрет, просил отправить на пересмотр списки ревизии, составил прошение председателю Думы, где указал все старинные грамоты на дачи — скрепленные еще царицей Екатериной. Но ходатайство его не помогло.

Мы потеряли свои деревья и поля кочёвок. Впервые провели лето, не покидая деревни, пасли в окрестных полях. Шалаши из драницы ставили на ближнем покосе. Сжались наши пределы: как хочешь, так и крутись. Но я не жалела о прошлом раздолье. Впереди у меня была свобода, дороже которой не может быть ничего на свете.

Одно печалило — разлука с Алдаром. Как назло, его я за все лето видела только издали. Не было больше ни ночей у костра, ни песен, ни сбора меда в лесу. Все, что могла увезти с собой, — его стихи, переписанные в дневник.

Наконец наступила пора ветров и дождей — предвестник осени. С ней я надеялась навсегда умчаться из ненавистного дома. Уж и платья мои были уложены в узел, засушены сухари в дорогу, припасены вяленый гусь и пастила на гостинцы. Но накануне назначенного отъезда я заболела.

Это потом я узнала, что две недели пролежала в лихорадке. Для меня эти дни слились в одну длинную ночь: все ждала, когда рассветет и надо будет отправляться в дорогу, все порывалась идти к абыстай, а утро не наступало.

Едва я очнулась на сырой заре, еще не понимая, сколько времени прошло, взяла свой узел, накинула елян и, пошатываясь, вышла во двор. Глядь, а там деревья уже полиняли, по-осеннему безутешно моросило. За забором стояла Гулькей и высматривала меня:

— Слава Всевышнему, а я уж думала, не сможешь проститься! Я каждый день к тебе бегала. Долго ты болела. Твои уж решили, что доходишь.

— Вот как! — я сперва удивилась, потом испугалась: — Ты сказала: проститься? С кем?

— Абыстай уезжает. Сегодня.

Уезжает? Без меня? Это невозможно!

— Увозят Идрис-хазрета, — ответила она шепотом. — То ли в ссылку, то ли под арест. Жандармы за ними приехали.

— Как? За что?

— Донесли, мол, что он людей на беспорядки подговорил.

— Но ведь он же наоборот, мира хотел. Пусть им расскажут! Это все знают!

— Тихо ты. Старейшины против него выступили, — Гулькей вздохнула. — Как же отец сокрушается: он давно советовал им бежать, да они все мешкали. Чего дожидались?

Меня они ждали, не могли бросить. Но этого я не сказала.

Опираясь на плечо Гулькей, я заковыляла к Фатанат-ханум. Пойду за ней хоть в Сибирь, хоть на край света — вот что я решила. Но нас догнала Ханифа:

— Куда ты!

Схватила меня за руку:

— Ведь и поправиться не успела. По такому холоду еще пуше простынешь.

— Мне на минутку только, пустите, матушка, умоляю.

Она потащила меня обратно в дом:

— Нечего!

Я была еще слишком слаба, чтобы ей противиться. Подумала: лучше поскорее лечь, притвориться спящей и ускользнуть, когда она уйдет. Но не тут-то было. Она уложила меня на нары рядом с олэсэй.

— Снова бежать задумала? — спросила старуха таким сладким и певучим голосом, которого у нее никогда не было. Она подвинулась ближе — в ее животе забулькало и заухало, положила руку мне на лоб — ладонь ее была холодна, как жаба. Под ней тело мое застыло, словно замороженное. Пахнуло болотной водой.

— Думаешь, я не знаю, куда собралась?

Значит, она увидела, как я встала, и отправила Ханифу вернуть меня.

— К абыстай! Совсем задурила тебе голову эта змея.

Я хотела ей возразить, подняться, но она заговорила еще настойчивее и принялась гладить меня по волосам.

— Злодейка Фатанат, — пела она. — Прикидывалась благодетельницей, а сама искала погубить тебя, глупую.

Я не могла сказать ни слова в защиту абыстай, и не доставало мне сил встать. Шепот олэсэй опутывал меня, как омут. Мертвыми и скользкими были ее хитрые ласки, совсем не как теплое прикосновение Фатанат-ханум. Старуха увещевала меня долго, пока я не упала на дно черного сна».

Экзамен (октябрь 1908 г.)

Медресе «Галия», куда теперь стремился Нахретдин, было символом и венцом джадидского движения. Мечту о независимом российском исламском университете вынашивали многие мусульманские интеллектуалы и богословы. А воплотить их удалось сыну келяшевского крестьянина Парвазетдину Камали. Чтобы прокормить детей, его отец Ямалетдин летом нанимался бурлаком на Волгу, но этого заработка большой семье не хватало, братья и сестры Парвазетдина умирали от голода один за другим. На какие деньги отцу удалось обучить Парвазетдина в мектебе, а потом послать его в «Гусманию» — ведомо одному Богу.

Мудир «Гусмании» Хайрулла бин Усман выделил способного юношу: по окончании курса оставил Парвазетдина преподавать богословие. В 1898-м Уфимское мусульманское благотворительное общество оплатило его учебу в Стамбульском университете. Там тоже оценили блестящие способности студента и перевели его в Каирский университет Аль-Азхар к знаменитому арабскому просветителю Мухаммаду Абду, ученику Джамала Афгани. Идеи Абду о реформах шариата и мусульманского образования так захватили Камали, что он решил посвятить свою жизнь обновлению ислама и сменил имя на Зыяитдин — «свет религии». Абду хотел отправить талантливого ученика в Сорбонну, но Зия отказался и накануне революции 1905 года вернулся в Уфу. Он не мог заниматься чистой наукой и философией на чужбине, когда родина нуждалась в нем.

Камали недолго преподавал в «Гусмании». К его возвращению это медресе уже отступило от идей джадидизма, и ему было тесно в жесткой узде старого метода. Он уговорил муфтия Султанова создать университет нового типа, который смог бы однажды потягаться с Аль-Азхаром. Вечером 1906 года в гостях у Салимгирея Джантюрина, где собралась элита уфимского купечества, было решено открыть медресе «Галия» и построить для него отдельное здание.

Купцы со всех концов губернии жертвовали на «Галию». Наряду с мужчинами — Назировым, Джантюриным, деньги вносили и женщины — Суфия Джантюрина, Магипарваз Шайхи-Галеева. Каримов, Хакимовы, Шамгулов, Султанова помогли кирпичом, сукном, мебелью, матрасами и одеялами.

Первое время шакирды «Галии» занимались во второй соборной мечети в Нижегородской слободе Уфы. 7 мая 1908 года был заложен первый камень собственного здания медресе, уже в октябре оно было выстроено. Но сырость в классах и спальнях стояла такая, что переезд отложили. Салимгирей Джантюрин сам приходил растапливать печи для просушки.

Поэтому вступительные экзамены 1908 года состоялись в старой мечети.

Нахретдин все представлял себе иначе. Вот он входит в новую судьбу с парадного крыльца краснокирпичного здания медресе. Холодный светлый зал с высокими окнами звенит от сосредоточенной тишины. Он кланяется перед досточтимой

комиссией из ученых мужей, имам-хатыбов во главе с муфтием. От волнения печет в горле. Его голос вспыхивает и рассыпается эхом по белому потолку.

Но он оказался в деревянной, неказистой мечети, какие бывают в деревенских приходах. В ней пахло старой избой: подкисшими бревнами, копотью, сеном — всем, с чем Нахретдин радостно распрощался, уезжая в Уфу. Он охотнее терпел бы мерзлый воздух новых стен, отдающий известкой и влажным песком.

Сидели плотно. На глаз получалось больше двухсот человек. Кроме башкир и татар были еще казахи, калмыки, киргизы. От каждого юноши исходил особый душок — айрановой икоты, верблюжьей шкуры, неведомой похлебки. Приторную смесь запахов изредка разбавлял легкий ветер из форточек. Солнце смотрело в самые окна. В пыльных лучах медленно качалась муха, разбуженная неурочным теплом посреди осени. Вместо вдохновенного страха Нахретдина охватила сонливость.

— Зыяитдин эфенди! — зашелестел зал, когда вошла комиссия. Угрожающий шепот пустили шакирды с первых рядов. Поступающие растерянно переглядывались и подхватывали с тревогой грозное имя мудира «Галии».

— Где? Который из них? — спросил Нахретдин у Мансура Халикова, пришедшего с Тунгатаром его подбодрить.

— Да вот же, второй справа. С виду строгий, а сочувствующий. Главное, ты не бойся мыслить, рассуждать, он это ценит. Но не слишком о себе воображай, он не терпит, если кто возносится.

Нахретдина слепил яркий свет, он не разглядел, на кого из пяти вошедших указывал Мансур.

По приглашению муфтия встали для молитвы. Нахретдин поднял ладони повыше, словно стремясь зачерпнуть сверху больше прохладного воздуха. Закрыв глаза. Напряг плечи, чтобы не впасть в дремоту.

Распев муфтия был мягким, с тягучими «-уль» и «-эмм». Нахретдин не выносил грубого произношения Курбангали-имама, в котором только и слышалось харканье «кхарам! кхарам!» Он соскучился по плавному звучанию классической арабии. Но оно напомнило Нахретдину молитву Сайфуллы-хазрета, сливавшуюся в благостный «халяль».

Зачесалась ладонь. Нахретдин приоткрыл глаз: муха ползала по его левой руке от пальца к запястью. Он осторожно подул на нее, она сонно перелетела на правую ладонь и продолжила плутать между линиями, начертанными на ней. В душе Нахретдина закопошилась досада, как это навязчивое перебирание легких лапок.

Молитва закончилась, а он так и не успел в нее погрузиться. Спешно провел ладонями по лицу вслед за другими. Муха вяло поднялась на его плечо. Прозвучали приветственные речи. Объявили очередь. Покончив на этом с официальной частью, комиссия спустилась в нижний каменный этаж, утопленный в землю по самые окна — там размещались классы. Вызвали трех первых кандидатов.

Нахретдин оказался в списке тех, кому предстояло сдавать сегодня.

— Янбактыев Нахретдин Фаррах-улы, — выкрикнул шакирд.

Нахретдин последовал за ним в экзаменационный класс. Он поклонился комиссии. Теперь можно было рассмотреть их строгие облачения, тюбетейки и чалмы. Смуглые лица были точеной бухарской и самаркандской породы. Только один — самый молодой, татарин в феске и сером кителе, с худым скуластым лицом, распахнутым ищущим взглядом, длинными кудрявыми усами — выделялся из мрачного ряда улемов, как светлый конь среди вороных. Наверняка он и был тем купцом Назировым, давшим половину суммы на строительство медресе.

Шакирд указал Нахретдину на выложенные на столе билеты. Он взял листок — совсем не тот, зачем-то крайний, хотя засматривался на середину стола. По фикху ему достался ибадат¹ — основы, известные даже ученикам мектебе, здесь нечем блеснуть. Из вероубеждения — ангелы по Гакаиду, на это в голове вертелось только: «Не говори, что ангелы далеко: макрибун летают в небесах, карубин окружают Трон Аллаха! Но сидит Ракиб на твоём правом плече, и Атид² — на левом, записывают каждый твой поступок!»

По истории ислама ему выделили узкий отрезок от правления ар-Рашида до падения Аббасидского халифата — тут никак не развернешь красноречивое рассуждение. В разделе арабской литературы стояло одно слово «садж»³, совершенно ему неизвестное. Сам шайтан подбросил ему этот билет, воспользовавшись тем, что он нерадиво помолился и не защитил себя.

— Вот и все, — прошептал Нахретдин равнодушно, сел за парту и отложил листок.

Тем временем кудрявый юноша с большими, глазами навывкате сидел перед комиссией и непринужденно рассуждал о каких-то аллегориях в притчах Руми. Это напоминало скорее беседу за чаепитием у Тунгатара, чем экзамен. Юноша читал строки на фарси высоким поставленным голосом, для толкования переходил на арабский. Мударрисам этого было мало, они задавали вопросы один хитрее другого. Тот отвечал быстро и охотно, и даже улыбка удовольствия наплывала на его толстые губы.

Нахретдин снова схватился за листок, перечел задание по русскому, фразу за фразой, и ничего не понял. Голос юноши отвлекал его, дрожали буквы, наплывали друг на друга. Но мударрисы, наконец, насытились ответом и отпустили его.

Пришел черед Нахретдина. Он пару раз глубоко вздохнул, чтобы раскатать легкие для напевного густого тембра. А дальше слова занялись быстро, как сухие сучья, приятно разогревая горло. Он прочитал наизусть несколько хадисов о тахарате, перечислил все виды омовения и перешел к намазу. Но татарин остановил его:

— Очевидно, ибадат вы освоили хорошо. Поговорим же о правлении Аль-Мамуна. Какое из его достижений кажется вам самым важным?

К этому Нахретдин был не готов. Грудь уже распирали горячий воздух, заготовленный для предписаний Аш-Шабайни. Нахретдин подавился невысказанными строками, голос потух.

— После смерти ар-Рашида за власть в империи борются два его сына, — начал он обиженно. — Аль-Мамун победил Аль-Амина, стал новым халифом в Багдаде. Он остановил гражданскую войну.

Про Аль-Мамуна он больше ничего не помнил. Но комиссия молчала, и он продолжил. Вся история ислама после Пророка Мухаммада смущала Нахретдина. Ему не нравились бесконечные распри между племенами и халифами, которые только отвлекали от борьбы с неверными. Ему казалось, что спорами между факихами и делением уммы⁴ верующих на течения и богословские школы — мазхабы — они отдалялись от чистоты первоначального закона, замутняли истину. Он старался

¹ Ибадат — ритуальная практика ислама, включающая обряды очищения, молитву, налог в пользу бедных, пост, паломничество в Мекку и усердие в вере.

² Макрибун, карубин, Ракиб, Атид — имена ангелов, упомянутых в Коране.

³ Садж — жанр классической арабской и персидской литературы.

⁴ Умма — религиозная община в исламе, обозначающая как совокупность всех мусульман, так и отдельную группу верующих в определенной местности.

выразить эту мысль, но у него не получалось высказаться с тем изяществом, с каким предыдущий юноша рассуждал о суфийском поэте.

— Так, — подхватил татарин и подался вперед. — Значит, по-вашему, главное — попытка Аль-Мамуна объединить суннитов и шиитов?

Нахретдин впервые слышал об этом и неуверенно кивнул. Он удивлялся, откуда у купца такие познания и почему именно он задает ему вопросы. Нахретдин все ждал, когда заговорят бородатые улемы.

— Хорошо. Хотя мне, признаться, дороже его любовь к наукам и философии, — сказал татарин. Его открытость и словоохотливость раздражали Нахретдина: чего этот купец так разговорился, а улемы позволяют ему. — Назовите школу калама¹, которая достигла при нем расцвета?

Нахретдин засомневался:

— Мутазилиты²?

— Замечательно! — обрадовался татарин и заерзал на стуле. — Знаете, какие древнегреческие философы на них повлияли?

Нахретдин обрадовался: вот тут купец промахнулся.

— Ни один из кяфиров никогда не влиял на мысли и сердца правоверных! Как можно только подумать такое! — выкрикнул он и метнул яростный взгляд в татарина.

Тот грустно покачал головой:

— Зачем поторопился? Не беда, коли не знаешь — беда, коли по незнанию судишь. Аль-Мамун способствовал тому, чтобы на арабский перевели Аристотеля и...

Если бы Нахретдин сразу понял, кто перед ним, он бы последовал совету Мансура и сдержался. Молодость и внешняя простота татарина сбили Нахретдина с толку. Вот и вышло, что он дерзил самому Зыяитдину Камали. Но мудир оскорбился не за себя. Он досадовал, когда студенты следовали за чужими заблуждениями, упорствуя в своей слепоте, не желая искать ответы. Тем более философия ислама, ее истоки давно были для Камали предметом особого интереса. Много лет он трудился над двухтомной монографией, посвященной этой теме. Вопросы, которые волновали его, были впервые заданы в эпоху высокого халифата — ту, что попала в билете Нахретдину.

Камали принялся с особым воодушевлением возражать юноше: расцвет исламской философии начался именно с багдадского халифа Аль-Мамуна. По его поручению знаток языков Хунайн ибн Исхак, бывший притом христианином, основал школу переводчиков, которые собирали разные копии древнегреческих и древнеримских книг, сравнивали тексты, чтобы добиться точности в передаче смысла. Их стараниями в девятом и десятом веках был создан обширный фонд античной литературы. В то время, как в угаре религиозного аскетизма европейцы уничтожали свое «языческое» наследие, мусульмане собирали и хранили его. Может быть, благодаря им Ренессанс достиг таких высот — ведь многие труды Аристотеля, Платона, Птолемея были вновь открыты и возвращены в Европу из арабских переводов. Великого Возрождения не было бы без эпохи высокого халифата. В этом удивительном переплетении и взаимовлиянии цивилизаций Камали видел надежду для современного ислама: теперь достижения западной науки помогут мусульманской культуре выбраться из болота предрассудков и невежества.

¹ Калам — одно из направлений арабо-мусульманской философии.

² Мутазилиты — первая школа калама.

Камали говорил, а Нахретдин едва слушал. Он все еще не знал, кто перед ним, и мучительно размышлял, что делать с заданием по русскому и загадочным «саджем». Наконец один из улемов перешел к этим коварным темам. Нахретдин пролепетал пару общих фраз. На это «купец» ответил:

— Достаточно! — и шакирд указал Нахретдину на дверь.

Мансур и Тунгатар поймали его у порога.

— Ну как?

— Никак.

— Неужели засыпался? Кадыри свирепствовал?

— Это нечестно. Не знаю я никакого саджа, в ваших книгах об этом не было ни слова. И русский текст был слишком сложным. Если бы этот купец не запутал меня своими глупыми идеями...

— Какой еще купец? — недоумевал Мансур. — Не было в комиссии никаких купцов, только преподаватели.

— А как же этот, молодой, в феске?

— Ты что! Это и был Зия Камали! Я же тебе на него указывал!

Черные точки пронеслись перед глазами Нахретдина, целый рой зажужжал в ушах. Воздух в коридоре стал плотным. Голова закружилась, он чуть не упал в черные клубы налетевших мошек. Он нагрубил самому Камали! Все кончено!

Тунгатар удержал его за руку. Едва отдышавшись, Нахретдин оттолкнул брата и побежал. На улицу. Вверх по горе. Мимо корявых изб. Что-то толкало его вперед к новому краснокирпичному зданию «Галии». Возле его крыльца он очнулся и остановился.

Отсюда была видна вся Нижегородка, рассеченная стрелами железной дороги, река и другой берег Белой с посеребристыми полями, желтыми пластами леса до пронзительно синего неба цвета платья Сахибджамал. Весь этот простор колыхался и плыл в его мокрых глазах. Солнце дрожало над кладбищенской горой, за которой скрывался заветный мост.

На углу улицы показался Тунгатар и прокричал ему, запыхавшись:

— Эй, что с тобой?

Нахретдин спустился с крыльца и, не отвечая брату, снова побежал. Наугад, напрямик, напролом. Только его сердце ведало, куда несутся обезумевшие ноги. Голова кружилась и тонула в бреду. Но сердце хорошо знало дорогу. Далеко осталась Нижегородка с ее приземистыми домами, темными надгробиями, рабскими обручами полумесяцев. Широко и свободно дыша, Нахретдин мчался по Малой Казанской, через Гостиный двор, на Центральную — к дворянскому собранию. Там, где под белым шелковым зонтиком не Сахибджамал ли идет ему навстречу?

Сватовство (декабрь 1908 г.)

Зима — это долгое жертвоприношение. Земле, как закланному животному, перерезают четыре канала жизни: трахею, пищевод, артерию и вену — Бисмиллях! Засыпает земля смертным сном, уложенная на левый бок головой в сторону Киблы, пока кровь вытекает из шеи — до последней капли, чтобы плоть очистилась. Скверна ли кровь, как говорит отец, или в ней пребывает душа — неприкосновенная, святая доля, предназначенная Создателю, как говорит старшая мать?

На первый снегопад совершается птичья жертва. Забивают гусей. Ледяные небесные перья смешиваются на ветру с теплым гусяным пухом. И кружит метель над стылой тушей земли. Эта жертва легкая: короток птичий век. Без ожесточения приносит ее Ибрагим.

Но после придет пора жертв многотрудных и печальных. В этом году отец поручил ему впервые забить лошадь и выбрал для того благодушного Куныра, которого Ибрагим знал с детства. Ибрагим не обрадовался такой чести.

Он не боялся, что конь взбрыкнет и ушибет его. Их силы на этом коварном обряде не равны: отец и приглашенный мал-салыусы¹ будут стоять рядом, готовые в любой момент схватить животное и повалить на землю. Сможет ли Ибрагим предательски успокоить коня дружеской лаской, обнять его за шею, вдохнуть запах и с именем Аллаха вспороть ее острым лезвием? Как водится, в последние дни Куныра освободят от работ, будут лелеять, кормить досыта. Но милосердна или беспощадна эта прощальная награда? Почует ли опасность бедный конь или, как несмышленное дитя, обрадуется внезапной щедрости?

Не так ли поступает жизнь с Ибрагимом — задабривает везением перед тем, как вознести над ним нож? Теперь он служит гостям вместо Нахретдина, молится по правую руку от Фарраха и ездит с ним в пятничную мечеть. Старшая мать уже созвала женщин на трудовую трапезу — ошипывать гусей. Не ради пользы или забавы она придумала этот сбор, а чтобы проверить избранницу Ибрагима в работе и веселии, — тогда можно и сватов засылать. Все идет так, как он мечтал.

Но чем ближе была цель, тем призрачнее. Тревога размывала ее черты. Ибрагим стал мнителен и сдержан. С каменным лицом ходил по улицам и сторонился Гюльназ, чтобы ничем не выдать свое счастье перед злыми духами.

Весь день трапезы он нарочно проработал на конюшнях. А так хотелось увидеть, как Гюльназ спешит к ним на утреннее чаепитие, заходит в дом — и губы ее покраснели от ветра. Как сидит среди подруг, перебирая розовыми пальцами снежные перья, как идет к Дёме, неся на плечах подвешенные на коромыслах птичьих тушки, чтобы омыть их в проруби. Как возвращается вечером в праздничном наряде на гусятину трапезу. Но боялся даже распознать ее голос в далеком девичьем хоре, который то выпевал скорбные озоны², то со смехом выводил кыска-кюйлар³.

Алмабика тоже всю старалась угодить алчным духам: как следует разгоняла печь, чтобы сильнее чадили казаны с гусяной шурпой и сковороды, где пеклись блины на гусяном жиру. Пусть насыщаются тучным паром и не поворачивают своих черных глаз на невесту.

Ибрагим вернулся домой после праздника, когда все разошлись, встал за дверью перед отцовской половиной подслушать вечерний совет отца с матерями.

— Хорошую девушку нашел сын, правду ты сказала, Алмабика, — начал отец. — Как только высмотрел, глазастый!

Сердце Ибрагима размягчилось, как воск, согретый языком свечи. Фаррах продолжил:

— Большим подспорьем могла бы она стать в хозяйстве, да разбалует ее Ибрагим, пощадит. Ни к чему выбирать ему жену по любви.

¹ Мал-салыусы — человек, знающий, как правильно приносить животное в жертву по шариату.

² Озон-кюй — башкирский песенный жанр, грустная протяжная песня.

³ Кыска-кюй — башкирский песенный жанр, веселая быстрая песня.

— Любовь развеется быстро, — вступилась старшая мать. — Положитесь на меня, любезный муж. Я воспитаю из нее старательную работницу.

На этом разговор кончился.

Ибрагим не знал, что решил отец, до того дня, как Фаррах облачился в пятничный камзол, повязал казакей расшитым поясом, запряг Карагёза и с дядьями Ибрагима поскакал на другой конец деревни, где жила Гюльназ.

Отец вернулся поздно. Его щеки разругались, он двигался вальяжно, будто после бани или во хмелю, хотя он никогда не пил арака. Несмотря на расслабленный вид, глядел мрачно и в злой рассеянности оглаживал свою бороду. С самого прихода не молвил ни слова.

Ибрагим вызвался разуть его и подать чаю, но Фаррах оттолкнул его.

— Иди спать!

Не дав Ибрагиму возразить, старшая мать вывела его за перегородку:

— Разве не видишь: отец не в духе. Ступай себе, я сама все выпрошу.

Ибрагим измаялся в своем углу, ожидая прихода матери. Неужели родители Гюльназ из бедняцкой гордости отказали их семейству? Но если б они отказали, отец давно бы приехал — чего сидеть попусту?

Услышав шаги Алмабики, Ибрагим вскочил с нар и подсел к ней:

— Отчего так мрачен отец? Отказали?

Она собирала в таз пустые пиалы, не глядя на него. Лицо ее тоже стало сурово, губы схвачены упрямым молчанием.

— Отдадут?

Алмабика отнесла таз на лавку у печи, вернулась за казаном.

— Матушка! — Ибрагим взялся за казан с другой стороны.

— Любовь расточительна, сынок, — вздохнула она. — Выбьет из тебя все силы. А их нужно беречь для работы. Работа длиннее жизни и по наследству переходит. Если ты надорвешься раньше времени, не успеешь детей поднять, передать им свое дело, то пресечется потомство твое и напрасно уйдет твоя жизнь.

— К чему вы ведете?

— К тому чтобы ты забыл о Гюльназ. За другого она сосватана. И к лучшему это.

— Как же? Когда успели? Я ничего об этом не слыхал! Неужели ее родители совершили бишек туйы — обручили ее во младенчестве?

— Какая разница, если так решено.

— Ничего не решено. Я перекуплю ее, заплачу калым вдвое больше!

— С каких денег? — она уперла свои красные кулаки в бока и топнула. — Не хозяин ты еще в этом доме, чтобы распоряжаться.

— За кого сосватали? — прикрикнул Ибрагим.

— Не горячись, — старшая мать виновато опустила голову. — Найдем тебе другую. Разве мало хороших девушек?

— За кого?

— Отец берет ее за себя.

— Как? Быть не может.

— А вот так, сынок. Уже и калым уплачен. Сто пятьдесят рублей серебром.

Ибрагим рванулся вон из избы как был — в тонком камзоле поверх рубахи, только сапоги обул, побежал через весь двор к конюшне. Оседлал сонного Куныра:

— Но-о! Что же ты еле идешь, глупый!

Доскакал до двора Гюльназ, привязал коня подальше от дома и прокрался к

окнам. Он чувствовал, что она не спит. И точно: в тусклом мерцании крайнего окна была едва видна худая, вытянутая тень Гюльназ.

— Гюльназым! — позвал он вполголоса.

Она взяла свечу и осветила перед собой. Всегда тонко обрисованные черты ее лица разбухли, как чернила от капель воды. Пухло нависли над глазами веки в кровоподтеках, одна щека залилась краской — ровно по отпечатку ладони. Сощурилась, разглядела его, поспешно задула свечу и пропала.

Он отошел подальше к сараям — если она выйдет к нему, то на это место, которое не видно из окон. Он угадал: она пришла, плотно завернувшись в платок.

— Зачем ты здесь? Мне только хуже будет!

— Не будет. Бежим. Там, у оврага стоит мой конь, мигом домчит нас хоть до Уфы, хоть до Оренбурга.

— Ты с ума сошел! А если поймают? Позор на веки вечные! Измажут лица сажей и погонят по улицам, как разбойников. Я умру, я не вынесу, — она заплакала.

— Не поймают, не бойся! Убежим далеко! — впервые он дерзнул дотронуться до нее. Осмелел еще больше и прижал к себе. Она положила голову на его плечо, но опомнилась и отступила:

— А куда мы убежим от гнева Всевышнего? И что будет с моей семьей? Калым уплачен, я принадлежу твоему отцу. Забудь обо мне!

Праздничный сход (июль 1912 г.)

«Не было больше надо мной защитных чар Фатанат-ханум. Снова я перешла в полную власть олэсэй. Все мне опостытело. Ничего не ждала, не надеялась. Оказалось, жизнь течет из родников сердца: желания, ненависти, надежды и любви. Иссякли они, и мир стал болотом — ничего не происходит. Не чередуются дни, не кончаются ночи.

Велено вставать и работать, я вставала и работала. Забывали про меня, и я про себя забывала. Как пришло лето? Откуда взялось? Неведомо.

Не добившись от меня ни жалобы, ни слезинки, олэсэй взялась за отца:

— Гляди, как возгордилась твоя Сурур. Управы на нее нет. Пора избавиться от девчонки, пока не натворила беды! Еще умыкнет какой-нибудь безлошадный пройдоха. А ты останешься с носом.

Отца не пришлось долго уговаривать. На июньский йыйын — первый деревенский сход после раздора, он пригласил Сяитбая, чтобы напомнить о старом сватовстве и назначенном калыме. К тому празднику меня готовили, как иноходца на продажу. Вымыли в бане так, что кожа хрустела. Обрядили в новое красное платье и черный елян с атласными лентами по краям, потуже стянули пояс. Камнем на шею водрузили коралловый нагрудник, навешали на уши длинные серьги, на алую лобную повязку нацепили подвески — точно в сбрую запрягли. Я стояла спокойно, пока жадные руки матерей сновали по моему телу, хватали, поворачивали.

Отец расстелил наш ковер неподалеку от жениха. Сяитбай смотрел сладострастным взглядом в ту сторону, где готовились общие кушанья. Губы его лоснились. Тугой живот грузно лежал на перекрещенных ногах.

Полчища одурманенных ос дрались над кипящим бульоном. Зуберьят, которую поставили следить за казанами, гнала их плетеной шумовкой.

— Ты посмотри, какая нерасторопная! Едва шевелится! Достанься она мне, извела бы плетей! — жаловался Сяитбай громко, глядя, как она вылавливает из казана куски мяса и раскладывает их: те что потолще на блюде для победителей состязаний, остальные — для гостей. Потом Зуберьят рассыпала над бульоном рваные пряди лапши. Сяитбай со злым нетерпением причмокнул, отвернулся и увидел меня. Он окинул меня тем же прожорливым взглядом, каким воделел блюда с мясом, и погладил свой живот.

Я вскочила, направилась к нему, с горьким отвращением предвкушая, как глубоко вонзится мой кулак в этот живот. Но вовремя опомнилась и остановилась. Неужели я еще могу ненавидеть?

Мимо пробегала Рауза, поймала меня за руку и повела к подругам:

— Что стоишь тут одна? Идем к нам!

Оживление, смех сквозняком проходились по их кружку. Они неистово изображали смущение, прятали в ладонях улыбку, отворачивались, поводили плечами. Я никогда не любила этого жеманства, а теперь недоумевала, откуда они брали на него силы, если каждую ждала судьба, подобная моей.

Вскоре я поняла, ради кого они так стараются: в отдалении расхаживал Алдар, заложив за пояс курай, и бросал в их сторону взгляды, как нищим подачку. Больше всех тушевалась Гулькей: крутила головой так, что фальшивые монетки ее украшений дешево бренчали. Алдар заметил ее, достал курай и стал выводить «Зульхизу» — песню о девушке, которую насильно отдали третьей женой за богатого мужа. Нарочно выбрал ее, чтобы побольше меня поддеть. Играл обо мне, а смотрел на Гулькей. Глупая Гулькей зарделась, захихикала.

Закончив играть, Алдар кинул свою шапку девушкам:

— Кто поймает, тому поцелуй.

Пришитые к шапке лисьи хвосты золотом взыграли на солнце. Подруги с визгом расступились. Только я осталась на месте, подхватила шапку и с упреком глянула на возлюбленного: легко ли тебе было предать меня?

Алдар подмигнул мне, присвистнул. Тут объявили первое состязание — бой на полотенцах, и он вызвался участвовать, а ко мне так и не подошел.

Бороться с ним выпало Кагарману. Я ахнула: брат такой здоровяк, коренаст и крепок — переломит высокого Алдара, как тростинку! Оба скинули рубахи, закрепили кушак на запястье, встали на вытопанную площадку под крики и свист. Девушки громко вздохнули. Борцы сошлись, обхватили друг друга полотенцами. Кагарман переступал, как медведь на задних лапах. Навалился на противника, рванул кушак на себя, Алдар выгнул стан, кости его затрещали. И все же ему удалось отбросить Кагармана подальше. Снова сцепились. Жилы Кагармана натянулись толстыми кнутами. Алдар же был похож на мышастого коня, загнанного хищником в ущелье, он изгибал шею, быстро перебирал ногами. На огромных руках брата густо блестела шерсть. Он сжал Алдара в своих звериных объятиях. Но тот увернулся. Кагарман запнулся о его выставленную вперед ногу, повалился на спину. И Алдар выиграл бой. Гулькей забылась от облегчения и восторга, кинулась к нему — первой подать рубаху.

Вот, значит, как у них теперь. Что ж, тут еще все могло сложиться удачно — род Гулькей нищий, из припущенников, ее отца арестовали вскоре после Идриса-хазрета. Ее семье как раз нужен хозяин, пусть и сирота, зато калыма не попросит.

Я швырнула шапку Алдара в траву. Теперь мне оставалось одно — отправиться за семью девушками, в Талкас.

Я отходила медленно, осторожно, чтобы никто не увидел. А как скрылась за холмом, всю припустила к озеру. По дороге срывала с себя украшения — кольца, серьги, наколки, селтэр, чтобы в последние минуты подышать полной грудью. Зашла в воду. Вода ласково обняла мои ноги. Хорошо мне будет спать в ней.

Тут я почувствовала ладонь на плече — не успела утопиться, поймали! Я вскрикнула.

— Неужели бесстрашная Сурур испугалась? — голос Алдара дышал мне в самое ухо. Я прижалась щекой к его ладони — впервые своей кожей к его. Было больно и хорошо:

— Разве не оставил меня возлюбленный ради Гулькей?

Мы стояли по колени в воде, и синие волны раскачивали подол моего алого платья.

— Что мне Гулькей по сравнению с невестой Сяитбая? — засмеялся Алдар и развернул меня к себе — требовательно, резко. Губы его устремились к моему лицу, я едва успела опустить голову и ощутила на щеке терпкий запах его слюны. Он крепко обнял меня. Тошнота и боль собрались у меня во рту в горячий сгусток, покатались по груди и заколотились под животом. От сильного спазма онемели ноги, я чуть не упала в воду.

— Отпусти! Не надо!

Он самодовольно улыбнулся:

— Нечего строить из себя гордячку! Сама же назначала мне свидание на Талкасе прошлым летом, разве не помнишь? Вот я пришел!

— Не об этом я просила, не этого хочу!

— К чему притворяться! Разве я сам не вижу, чего ты хочешь?

Лицо его сделалось властным, взгляд пожирнел, почти как у Сяитбая. Он теснее сжимал меня, страшнее и яростнее становились его ласки. Я едва отстранилась, сбросила его руки со своей груди:

— Довольно! Увидят! Тебя не тронут, а меня забьют камнями!

— Хорошо, — он зычно сглотнул. — Дождемся ночи! Сегодня же увезу тебя!

— Что ты! Не получится. Меня всю стерегут.

— Не бойся. Я потолкую с Кагарманом, он поможет. А ты собери узел и прислушавшись, как закричит коростель, выходи. Я встану прямо за конюшней, есть там у вас закуток, который ниоткуда не видно.

— Не трудись, Алдар. Я не выйду.

— Глупая! Неужели хочешь пойти за этого пузатого урода? Другая умоляла бы!

— Пусть Гулькей умоляет!

Алдар рассмеялся:

— Вот оно что! Ты ревнуешь! Так гляди, не выйдешь — пойду к Гулькей.

Я еще постояла у озера, когда он ушел. Но топиться раздумала. Я поднялась на холм, собирая по дороге свои украшения и вешая их на себя.

Трапеза заканчивалась. Я села на самый край ковра к младшим сестрам. Олэсэй презрительно перебирала на блюде оставшиеся куски мяса. Отец запивал икоту кумысом.

Объявили игру в кыз кыуы: если всадник догонит наездницу — получит поцелуй, не догонит — дадут нагайкой по спине. Джигиты и девушки оседлали коней. И Алдар уже был среди них, как ни в чем не бывало. Прошагал мимо, не взглянув на меня, одолжил у Кагармана коня. Мне как невесте нельзя было участвовать в игре.

Девушки стали ссориться между собой за то, кому идти в паре с Алдаром. Рауза

отогнала Гулькей. Алдар хлестнул коня, направил его вслед за Раузой. Конь Алдара быстро поравнялся с каурой кобылой Раузы. Алдар не стал дожидаться, когда спешатся. Прямо на скаку приблизился к Раузе, притянул ее к себе за талию и поцеловал. Уж не почудилось ли мне то, что было между нами давеча у озера?

Я сказалась больной и ушла.

Бежать с Алдаром я не думала. После праздника мне было яснее ясного: с ним я намайюсь не меньше, чем с Сяитбаем. Да и всерьез ли он говорил о побеге? И все же казалось, будто это мой последний вечер дома. Быть может, завтра Сяитбай увезет меня в свою деревню — не зря же остался ночевать в Исяново.

Я стала разглядывать посуду на печи, сложенные на сундуке юрганы, часть двора, которую было видно в окно, лоскуты заката на бревнах. Будто стараясь хорошенько запомнить. Неторопливо помолилась. Пролистала свои тетрадки со стихами и зачем-то заложила их за пояс под нижнюю сорочку.

Темнело медленно. Вдалеке слышалась песня двух кураев — Алдара и Юлдаша, значит, праздник еще не кончился. Сон не шел. Ждала чего-то. В тревожной праздности перебрала сундук. И нашла платье Фатанат-ханум, то самое, что она дала мне в первую нашу встречу. Примерила его — теперь оно мне было впору. На душе сделалось уютно, будто сама абыстай обнимала меня. Достала спрятанные в полотенце книги: Мугаллим Сани, сборник стихов Тукая, география Карими, «Символы веры» Уметбаева, Коран. Каждая строчка в них говорила голосом Фатанат-ханум.

С шумными беседами и перепевами люди расходились по домам. Вскоре и мои вернулись. Когда все улеглись, я приоткрыла окно. Серо, тихо. С Талкаса несло печальное уханье — жабья брачная песнь. Тоскливо было не спать посреди ночи под этот заунывный гул. Что будет со мной завтра? Неужели коснутся моего плеча толстые мохнатые пальцы Сяитбая, будут лежать мои волосы на его вздутом животе, будет лезть мне в рот тухлый запах его губ?

Я встала с нар. Снова открыла сундук. Покидала на одеяло сменное платье, платок, елян, зимние ката, камзол. Связала узлом. Села на сундук, прислушалась.

Затрещала коростель. Он! Сердце захолонуло. Вдруг я придумала, что нужно делать: уговорю Алдара ехать в Троицк, там наверняка найдутся те, кто помнит Идриса-хазрета, и укажут, где их искать.

Я скорее развязала узел. Вывалила обратно в сундук свою одежду. Вместо них сложила книги. Снова надела синее платье Фатанат-ханум, как оберег.

Я уже подходила к назначенному месту, как услышала звериный рев. Первый выкрик — сильный и долгий, второй глуше, утробнее, третий перешел в хрипы и стон. В нем, в последнем стоне я узнала голос Алдара. А потом все стихло.

Я метнулась к конюшне. Там, в укромном углу между стеной и забором, в черной луже лежал Алдар, перерубленный надвое медвежьим капканом. Этот капкан Кагарман всегда брал с собой на кочевье.

Мельком я увидела обескровленное лицо, раскрытый, закопченный рот и тонкую, серебрившуюся в лунном луче нитку слюны меж распахнутых губ. Я зажала себе рот кулаком, чтобы братья и отец не услышали моего крика».

Молодая жена (1908 — 1910 гг.)

По дороге Ибрагим плакал и нещадно стегал коня. Тот проскакал до окраины деревни галопом, до Нарыстау рысью, после перешел на шаг. Выдохся, отвык от быстрой езды, разнежился в сытости. Ибрагим ударил его каблуками по бокам. Конь заскулил по-собачьи и остановился:

— Глупый ты, глупый! — Ибрагим не мог остановить слез. — Совсем обленился, бегать отвык. В покое твоя смерть. Неужто и ты не хочешь спастись?

Конь переминался с ноги на ногу, и наст под его копытами звонко трескался. По степи загудел ветер и прошел Ибрагима насквозь. Куда он теперь поедет без одежды, без денег, ночью? В медресе, как Нахретдина, его не возьмут, на фабрику — подавно. Ничего, кроме конной работы, он не знает. Надо собираться как следует: найти место конюха в Миякитамак или в санатории у Рубеля. Сейчас ехать рано.

— Ну как знаешь! — упрекнул он коня. — Пеняй на себя!

И повернул к деревне. Куныр побежал охотно, радостно вскидывая головой.

Через неделю Ибрагим заколол его своими руками, хотя ему было бы легче воткнуть жертвенный нож в шею Фарраха. Мясо коня целиком ушло на свадебное угощение. Ибрагим не взял в рот ни куска. Только кинжал припрятал за пазуху.

В то утро, когда Гюльназ должны были ввести в дом жениха, Ибрагим решился ехать. Старшая мать так испугалась его налитых кровью глаз, что сама уговорила бежать поскорее и сунула ему за пазуху свой кошель с деньгами.

Заслышав колокольчики свадебного поезда, Ибрагим замер на пороге. Разве можно уйти, не взглянув на нее в последний раз?

Обряженная в красный кашмау, селтэр и черный елян, точь-в-точь как рабская птица на уфимской ярмарке, она ступила с телеги на белую подушку. Пока Гюльназ обсыпали пшеницей, лицо ее, бледное, без кровинки, будто совсем без плоти — истлевшее до черепа, было неподвижно, она даже не жмурилась от летевших в глаза зерен.

Старшая мать подала ей с ложечки мед, смешанный с маслом. Но Гюльназ не открыла рот, плотно сжала губы, и Алмабика вымазала их толстым липким слоем. Пока она желала ей: «Пусть характер твой будет мягкий, как масло, а язык сладкий, как мед!», Гюльназ вытерла рот рукавом праздничного еяна.

Все это видел Ибрагим через пульсирующую алую пелену. Глаза его иссушились, затекла правая кисть, сжимающая кинжал. Он продолжал смотреть, не мог оторваться. Гюльназ зашла в сени. Матери притянули ее голову к порогу, с трудом сгибая тугую, упрямую спину, — добровольно кланяться новому дому та не пожелала.

Подвели к печи. Теперь ей следовало угостить духов очага. Когда она кормила огонь куском сливочного масла, пламя взвилось и вцепилось в рукав ее еяна. Она этого словно не замечала. Алмабика подскочила к ней, стремительно сжала ее запястье, убрала руку от печи и захлопала по язычкам пламени на ткани. Гюльназ была все так же спокойна и тиха.

Ибрагим остался до самого конца трапезы, высидел на мужской половине все перемены блюд, пока плясали, пока пели. Рука его срослась с кинжалом, а глаза уже

ничего не видели, кроме белого блика ее лица, хотя Гюльназ давно была на женской половине.

Поздним вечером он вышел на двор отдышаться, там его поймала старшая мать, вышедшая топить молодым баню.

— Ведь давно я тебя благословила на дорогу. Что ты медлишь? — Алмабика бросила поленья в сторону и кинулась к нему. Он молчал, отворачивался от ее раскрытых для объятия рук.

— Для чего мучаешь себя? Уезжай скорее, сынок! — она схватила его за чекмень и встряхнула что было силы. — По глазам вижу, недоброе ты задумал. Так недалеко до душегубства. Не отца хочу спасти! Тебя! Ведь на каторгу пойдешь! Опомнись!

Он вырвался, пнул ногой кучу дров и скрылся во тьме.

— Ой, беда! Беда! — запричитала Алмабика ему вслед.

Ибрагим обошел двор огородами и засел за баней. Стихли песни, и Зариф с заикающейся во хмелю тальянкой убрался восвояси. Но еще долго было тихо — неужели молодые улеглись спать, забыв про баню?

Наконец захрустел снег, нетерпеливо, тяжело — под ногами отца, и едва слышно запищали легкие шаги Гюльназ. Фаррах своего права не забудет!

Баня разинула красную пасть, дыхнув в черный мороз густым паром, и захлопнула, проглотив их обоих. Ходуном ходили низкорослые стены от злобной возни внутри.

— Что лицо воротить? — рычал Фаррах. — Что кутаешься? Брось платок! Куда пошла? А ну ко мне!

— Пощадите, пожалуйста! — просила она.

Глухой мясистый удар последовал за этим, Гюльназ вскрикнула.

— А ну, веди себя смирно! Учи тебя!

Она припала к стене и заскребла по ней пальцами. Ибрагим сидел за той самой стеной с другой стороны, обледеневший, сросшийся с сугробом — не стало у него ни рук, ни ног, ни сердца. Тяжелые шаги Фарраха настигли Гюльназ.

— Пусти! Разожми руки! — хрустнула ткань.

— Прощу, не надо! — она метнулась в сторону, стукнувшись о косяк.

— Стой, дурная ты кровь! Не хочешь по-хорошему? Не знаешь, что говорил Пророк, мир ему и благословение: «Возьми в руку пучок, ударь им жену!» — что-то стукнулось о стену и, шаркнув по ней, повалилось на пол. — «Аллах разрешает вам закрывать их в отдельных комнатах и бить их!»

С новыми ударами Гюльназ уже не вскрикивала, а стонала, ровно, протяжно.

— Ладно, довольно на сегодня науки. Настал черед ласки!

Тут Ибрагим потерял сознание.

Он очнулся, когда кинжал стальным клыком прикусил ему бедро. Вокруг все стихло, волоком тянулся до дома тяжелый след Фаррахова тулупа. Баня, быстро остывая, пускала в небо ослабевшие белесые выдохи. Ибрагим вытащил нож. Выставил перед собой, поднялся и пошел вслед за ним, будто это кинжал тянул его за собой в избу, на отцовскую половину.

На приисках Дэрдменда (июль 1912 г.)

— Слышите? Опять! — лицо Бикбулата посерело, губы вытянулись. Он замер, как оглушенная рыба.

Ибрагим прижался ухом к мокрой глине. Под землей что-то тонко посвистывало: тсс-тсс-тсс. Звук был похож на плеск воды, каким он слышится, если нырнуть поглубже в реку. Неприятно, холодно скреб по сердцу.

— Вот оно! — снова воскликнул Бикбулат испуганно. — Камешки перекатываются: ползет! Кажется, прямо в нашу выработку.

— Совсем не туда, ваша правее. А в той стороне Хасан-абы копает, — спорил Тазитдин.

— Как бы не так! — закричал на него Бикбулат. — Сколько я бегал в темноте от забоя к колодцу! Я с закрытыми глазами направление укажу.

— Тише ты! Ничего не слышать! — Ишмат соединил ладони вокруг уха и лег. — Ох, правда, хрустит что-то. Вы слышали? А вдруг это аждаха¹, а не золотой змей?

— Да, — улыбнулся Тазитдин. — Спустится завтра Бикбулат в забой, а там она. Обернулась прекрасной девицей и сидит-ждет. Усыпит его да и проглотит.

— Зато сперва он с ней позабавится как следует, — усмехнулся Ишмат. — А что, хорошая смерть! Куда лучше, чем под завалом или калекой с голодухи.

— Ну вас! Не верите и не надо. Зря только вам рассказал! — бурчал Бикбулат. — Между прочим, тот русский, что мне приметку выдал, вышел по ней на самородок в сто золотников.

— Ой, не могу! — засмеялся Тазитдин. — Найди он столько золота, разве остался бы на приисках?

Бикбулат промолчал. Они еще долго лежали, прислушивались к шорохам и прикидывали, в каком направлении лучше копать: где на этот раз золотой змей отложил самородок.

— Ладно, пошли, что ли? Спины отморозим! — Тазитдин присел, потянулся.

— Что, боишься, жена хватится? Иди-иди, пусть она тебе золотники намывает, а ты за ее подол держись! — поддразнил Бикбулат. Тазитдин лег обратно, оправдываясь:

— Я-то что! Мне для себя ничего не надо. Сыновей бы только вытащить отсюда. Особенно Лотфуллу. Жалко, если тут пропадет.

К баракам они пробирались в сумерки. Контора, дробильные башни, избы кренились к краям рудника, будто охваченные невидимым водоворотом. Пока рабочие спали и постанывал в забытии тщедушный скот, этот водоворот потихоньку засасывал все в черную воронку шахты.

Странные то были земли — Рамеевские прииски. Нежилые. За два долгих года Ибрагим так и не смог к ним привыкнуть. Много мест он повидал. Где только ни селятся люди: их домишки и огороды росли на горных склонах, в узких ущельях, у шумных речных порогов.

Но сколько ни обустроивали прииски, округа становилась все бесприютнее. Ни деревца, ни кустика не росло среди изрытой глины. Возле шахтных колодцев валялись грязные, будто нанесенные селевым потоком, бревна, тачки, корыта. Ветер

¹ Аждаха — в башкирской мифологии злой демон в форме змея или дракона, иногда принимает облик красивой девушки.

взбалтывал вихри, похожие на завитки дыма, над кучами дробленых пород. Черный шлик въелся в стены и окна изб, казалось, они покрыты сажей. Словно разом два бедствия прошли по этим местам — потоп и пожар.

В холостяцком бараке было уже темно, лишь несколько ламп коптились по углам: два сезонника из троицких шакирдов читали свои книги, Уразмет штопал трухлявый халат подле своей керосинки, и хворый Сафар спал при свете, боясь умереть в темноте.

Бикбулат вскипятит чайник, хотелось отогреться от страха. Да разве пустой чай поможет в таком деле? Плошку горячей лапши бы сейчас, чтобы подольше сохранить тепло. Тазитдину, небось, жена наварила мучной похлебки с картошкой, и он сидит сейчас, лопает. Разве были времена, когда Ибрагим получал от отца большой кусок мяса? И от бульона в его пиале шел пар до самого потолка? И чай ему наливали наполовину со сливками, так что на поверхности золотился жир? Или все это привиделось ему на рваном клочке сна?

— Чего приуныли? Неужто не хотите завтра с красавицей встретиться? — хорохорился Ишмат, помешивая едва желтый кипяток.

— Напрасно ты шутишь, — стращал его Бикбулат. — Ты тут меньше моего пробыл и не знаешь: будешь поминать аждаху, она к тебе и явится.

Ишмат и без того понимал, что завтра в каждой штольне им будет мерещиться демон в женском обличье.

— Суеверия это! — натужно рассмеялся он. — И твоим звукам должно быть простое объяснение, надо у знающих людей спросить.

— Я тебе спрошу! Хочешь, чтобы им золотая жила досталась? Не веришь — не надо, мы уж как-нибудь без тебя справимся.

— Копать-то я не отказываюсь, — уступил Ишмат. — Все равно ведь копать, так какая разница, где. Главное, чтобы штейгер не прознал. А ты с нами, Ибрагим?

— Если Хасан отпустит.

— Вот те на! Он еще отпрашиваться будет. Да что ты все за ним ходишь? Ведь давно мог бы и сам!

Ибрагим рылся в своем мешке, будто не слыша упрека Бикбулата. Хлеба осталось совсем немного, вряд ли он растянет его до воскресенья. Все же он с показной беспечностью отщипнул зачерствевшей корки, смочил в чае:

— Штейгер приставил, вот и хожу.

Он никому не хотел признаваться, что при опытном рудокопе его житье на приисках сделалось не таким сиротливым, как поначалу. Хасан был капризен, и Ибрагим исполнял для него немало поручений, которые не относились к работе, зато по воскресеньям он обедал у старика в семейном бараке почти по-родственному. Хоть масло, в котором дочь Хасана жарила пышки, было прогорклым, мука наполовину перемешана с пылью и отрубным сором, то была горячая, женскими руками приготовленная пища. Не сухая серая краюха, от которой желудок Ибрагима сжимался в кулак.

Конечно, хитрый мастер потчевал его не по доброте сердца. Из всех детей, кое-как пристроенных, осталась при Хасане одна дочь — белесая, болезная Юндуз. Ибрагима он прочил ей в мужья и даже проговаривался о своем намерении, захмелев от воскресной стопки арака, прямо при ней.

Впрочем, она этого не стеснялась — от слов отца глиняные плошки не звенели в ее руках и не проливался катык из пиалы. Обыденно подносила она питье Ибрагиму, словно была его женой уже много лет.

Ибрагим не чувствовал к Юндуз ничего, кроме брезгливой жалости. Но по воскресеньям, упиваясь сытым умиротворением в животе, он мечтал остаться в семейном бараке. Хорошо было бы каждый день есть домашнее, избавиться наконец от недостойных женских обязанностей — стирки и штопки. Тем более, что свадьба на приисках была делом простым: ни калыма, ни пышного празднества не требовалось. Местный мулла читал никах¹, делал запись в книге мечети, и довольно.

Окончив скудное чаепитие, приятели разошлись по нарам. Ибрагим редко засыпал сразу, хотя уставал до беспомыслия.

Днем легко быть существом без прошлого — безмянной душой на первозданной глубине земли. Одна забота: иди, пригнув голову, с ведром породы, к стволу шахты, высыпай ее в бадью и порожним спеши обратно. Он не видел золота, которое выжимали из камня в дробильнях и на вашгердах. Не мог понять, сколько успел за день. Руда была неисчерпаема. В этой бессмысленной работе Ибрагим забывал себя. Исчезал целиком в промежутке тьмы от фонаря в их забое до снопа света из шахтного колодца. И то было лучше любого утешения.

Зато ночью на Ибрагима набрасывались мысли о доме. Напоминало о нем не подобное и знакомое, а наоборот, чужое и непривычное. Во-первых, прокуренный голодный воздух, отдававший тухлой рыбой. Ибрагим дышал им с отвращением, по чуть-чуть пропуская в нос. Дома-то самый запах — кипяченого молока, лапши и мяса — питает покоем на предстоящий день. Там он не знал о том, каково это каждый день добывать работу, выкраивать пищу, отстаивать место ночлега.

Во вторую очередь, звуки: шуршание мышей между бревен, непрерывный кашель, который подхватывали со всех сторон, как унылую похоронную песню. Хуже всего были стоны покалечившихся за смену. Ибрагим мог оказаться на их месте хоть завтра. Рано или поздно это случалось с каждым. Ему больше было не суждено умереть в мирном сне на собственной постели, как умерли его прадед и дед. Он кончит свой век в муках, на чужих глазах или под завалом.

Для чего он добровольно взвалил на себя судьбу безродного нищего? Ведь есть у его отца и дом, и табуны, и пастбища. Пусть не все теперь достанется ему, но и одного выдела хватит на жизнь. Богачом бы считался среди этих бедняг. Зачем он мыкается с ними?

Причина была страшнее боли в надорванной спине, барачных запахов и звуков, гибели под землей.

Сперва Ибрагим все откладывал отъезд из Ильсегулово и выслеживал Гюльназ, чтобы силой увезти ее с собой. Он подслушивал за баней, сжимая зубами ворот чекменя, как Гюльназ мычала в платок под ударами Фарраха. Стоял за стеной до последнего — пока отец не вываливался из бани и не пошел хмельной походкой в дом. Будто его немая ярость могла облегчить ее страдания. Всюду таскал с собой кинжал, даже спал с ним. И ни на что не решался.

Наконец, в одну из ночей, когда избитая Гюльназ тихонько стонала в бане, омывая свои раны, а Фаррах благостно храпел на перине в избе, Ибрагим вошел на отцовскую половину. Занес нож над спящим грузным телом, в котором не осталось ни одной знакомой черты. Такое счастье от близкой расправы нахлынуло тогда на него! Миг, когда он еще не знает, что испугается себя, бросит кинжал и покинет дом, в памяти длился много дольше, чем в жизни. Жуткий, полный наслаждения миг.

¹ Никах — обряд бракосочетания по шарияту.

Кем он был тогда — дышащий злобой, как похоть? Не отступник, даже не зверь. И ведь он перестал быть собой не в тот миг до убийства, а раньше — в звездную ночь своего совершеннолетия.

Нескоро Ибрагим погрузился в темное беспмятство. Его мысли долго бродили по исхоженным тропам памяти, пока кто-то не стал ровно насвистывать ему на ухо: тебя нет, греха нет, Бога нет, ничего нет, тсс-тсс-тсс. И он будто нырнул в шахту.

Его разбудил разговор приятелей.

— Да, заживем! — говорил Ишмат совсем не тем насмешливым тоном, что вчера.

— Дом себе поставлю белый, под зеленой крышей, как у Рамеевых! — поддакивал Бикбулат, дуя на кружку.

— Видел бы ты, какой у них в Оренбурге дворец! Этот по сравнению с ним — сарай.

— Мне дворца не надо. Мне и такого, как тут, хватит.

Они отламывали от своих караваев щедрые куски, словно уже нашли самородки. Но бодрились только до тех пор, пока не пришли к шахте. Там уже хрустели по их души пеньковые веревки и стонали бадьи, уносившие во тьму. Солнечный свет над рудником становился серым, ветер терял тут луговые запахи, насыщался гарью и песком. И все же этот неприятный воздух и тусклый свет были куда лучше затхлого подземелья.

Ибрагим забрался в бадью вместе с Тазитдином и смотрел, как уплывает вверх круглый островок неба, уменьшаясь до блюда, пиалы, серебряной монеты. Деревянное дно стукнулось о землю. Они вылезли.

— Давай с нами, не робей! Баем вернешься в свою деревню! А я Лотфуллу в медресе отправлю.

— Чего он там забыл?

— Как чего? Выучится, станет муллой. За весь наш род отъестся и отоспится, — Тазитдин улыбнулся и зашагал, насвистывая, в сторону своего забоя.

Они только об этом и грезили — вернуться богатыми в родные края. Возвращались разве что сезонники, а уж богатыми — никто. Прииски были коварны. Порой, подлецам они швыряли золотые зерна прямо под ноги, а отчаянные работяги могли за всю жизнь не найти в рудном ломе ничего, кроме обманных прожилок пирита. Шальные самородки, попадались чаще черным старателям, но все равно оседали тут же: счастливцев дурили на взвешивании и расчете доли, спаивали, грабили. И они начинали поиски заново. Имеющие были, как неимущие; радующиеся, как скорбящие; живые, как погребенные.

Ибрагим шел в кромешной тьме и больше не боялся ее. Так ли страшно небытие, если в нем канет алчущее тело, недужная душа? Нет горя, нет любви, нет тепла, нет света — тсс-тсс-тсс.

Полусонный, он доковылял до выработки. Длинная тень, следовавшая за ним, спряталась между выступами в стене.

Горел фонарь, Хасан выбивал руду. Его тело будто состояло из одних жил, они все время ходили ходуном, похожие на рычаги паровой дробильни. За работой он казался не старше сорока. Когда они выходили из шахты, он оседал, как остановленный механизм, складывался, сморщивался.

Ибрагим громко поприветствовал его, тот лишь кивнул в сторону осколков породы, усыпавших проход: он наработал много, догнать получится нескоро. Ибрагим взялся за лопату и забылся, черпая понемногу из неиссякаемой кучи и относя к бадье.

— Отдыхай! — наконец скомандовал Хасан. С утра до вечера он не выходил к колодцу, не видел живого света, но рассчитывал время работы и перерыва будто по

солнцу. Этот навык сохранил ему здоровье: ни разу за всю жизнь на приисках он не слег, надорвавшись.

Они сели на груды камней. Хасан закрыл глаза, молчал, его мышцы все еще пульсировали по машинной инерции.

Ибрагим особо ценил то, что Хасан не курил и не ел чеснока, как его первый мастер. В забое и без этого было нечем дышать. Поначалу Ибрагим долго не мог привыкнуть, что в сыром и холодном коридоре может быть так душно. Глубокий вдох можно было сделать недалеко от колодца, у которого расходились сквозняки от квершлагов.

Хасан вынул из своего туеска картофельные шанежки, протянул одну Ибрагиму:

— Кушай. Юндуз испекла.

Ибрагим отложил свою черствую лепешку и с удовольствием принялся за угощение, откусывая с краешка по чуть-чуть.

— Хасан-абы, а не приходилось вам слышать у шахты такой звук, вроде шороха и свиста?

Рудокоп повел носом, насторожился:

— Где? Рядом с нашим забоем?

— Нет, это я к примеру. Говорят, золотой полоз так себе дорогу прокладывает.

— Полоз! — фыркнул Хасан. — Придумают тоже! Акият — сказки для новичков! Плохой это звук. Так порода осыпается — жди обвала. Знаю, с недавних пор он завелся и в наших стенах. Даже балки постанывают. Говорил я штейгеру: совсем шахта прохудилась. Не удержится.

— И что он? Послушал?

— Какое там! Давай меня бранить на чем свет, мол, всякий болван будет его учить. А сам-то сюда больше не спускается.

— Как же нам теперь быть?

— Ну, меня, старика, в другое место не возьмут, а ты можешь взять расчет, коль боишься, — Хасан скосил глаза от обиды.

Ибрагим представил, что придется снова идти от деревни к деревне без куска хлеба и крыши над головой, выпрашивать работу, как милостыню, и сник. Хасан истолковал его молчание по-своему, размашисто похлопал по плечу:

— Догадываюсь, что тебя тут держит. Дело молодое! Эх! Ладно, не горюй, не придется тебе покамест уезжать. Похлопочу, чтобы тебя перевели на вашгерды, а я тут как-нибудь. Завалит — меня, старика, не жалко, я свое пожил. Вот только ты не робей, не медли, Юндуз не откажет.

Ибрагим кивнул, натянул улыбку.

— А какие есть знаки, что на золото выводят?

Хасан покачал головой:

— Опять ты за свое. Нечего об этом думать. Может, в стародавние времена и находили россыпи. Сейчас золото глубже ушло, из руды его голыми руками не возьмешь. Оттого оно все баям достается. Вон у них машин, струментов сколько!

— Так ведь находят же самородки!

— То лукавая удача. Понадеешься на нее, себя потеряешь. Ты о золоте не думай. Это лютая болезнь. Отработал смену, получил плату, этим и живи. До смерти золото привораживает, как аждаха. Изъест тебя всего. То силы одной породы, змеиной. Слышал небось про аждаху?

— Еще бы.

— А я видал, — вдруг признался он. — У нашего леса за рудником. Сначала принял

ее за солнце между соснами, уж больно ярко горела кожа. Она у нее вся блестящими чешуйками покрыта, как у медянки.

— Красивая?

— Хороша. Да срам говорить про такое, — Хасан по-детски захихикал, прикрыв рот ладонью. — Была она безо всякого платья, даже платком не покрывалась.

— Неужто голая?

Хасан кивнул.

— И не стеснялась?

— Ни капли.

— Вы испугались?

— Сперва тухнул, а потом залюбовался.

— А она?

— Увидала и зовет. Голос такой ласковый, манкий, ноги сами к ней несут. Но я скрепился, повернул к бараку.

— И все? Выходит, не так уж и страшно с ней встретиться?

Хасан приосанился:

— Как сказать. Наш старатель Гумер, тот, что нашел самородок с бараний череп — все о нем тут помнят, — тот, видно, не сдержался, пошел на зов. Спустя дня три, как мне явилась аждаха, его нашли мертвым на том самом месте. Так-то! — рудокоп прищелкнул языком и взялся за рукоятку кайла. — Ну, хватит болтать, работай!

Стук, скрежет, грохот снова заполнили всю галерею, тотчас стало тесно от шума. Ибрагим уже не мог отвлечься на работу. Ему мнилось, что стены вот-вот сомкнутся со всех сторон. Свои шаги он принимал за камнепад. То и дело оглядывался. Да какой в этом толк, если кругом тьма?

Когда забили конец смены, Ибрагим был рад выбраться на поверхность как никогда прежде. Но в барак не спешил. Встал у большой развилки, поджидая Бикбулата, Ишмата и Тазитдина. Как убедить их не копать в сторону свиста? Чего доброго, подумают, что Хасан подговорил обмануть их, чтобы забрать себе все золото.

Со смены рабочие шли бодрее, у всех второе дыхание открылось. Штейгер со скукой кричал им:

— Только о том и думаете, чтобы набить брюхо и завалиться спать! Вот если бы вы так же на работу торопились!

Каждый, миновав начальника, тихо посылал его к шайтану.

Разного народу прибило к приискам — татар, мишар, тептярей, башкир, чувашей. Но они четко делились лишь на два племени: подземных людей, что работали в шахте, и речных, стоявших у вашгердов. Подземные люди были сутулы, со скрюченными шеями и горбами, — так их тела приноравливались к низким коридорам. Их веки были темны от рудной пыли, а вокруг глаз — черная каемка. Выходя на землю, они щурились на непривычное солнце, отчего их лица выглядели еще угрюмее.

Среди речных людей было много женщин и детей — этот труд считался легким. Серый уральский загар не сходил с их кожи. Ржавый песочный налет вьелся в скрюченные пальцы и шишковатые кисти.

После конца смены оба этих племени шли вперемешку.

Приятели Ибрагима все не показывались. Зато его заметила Юндуз и сама подошла к нему. Местные девушки держались бойко и не боялись срама — они

привыкли работать рядом с чужими мужчинами и не церемониться: чтобы не намочить свои юбки, они бесстыдно подвязывали их чуть не до колен.

Свои порядки царили на руднике. Женщины были смелее, нравы — проще, молитвы — торопливее и реже. Те, кто привозил сюда своих богов, так и оставлял их в дорожных котомках. Там, где добывают золото, вера была единой — в древнюю преисподнюю силу. Ей одной иступленно служили: рыли, дробили, возили, мыли-перемывали — то были и намаз, и ураза.

— Не меня ли поджидаешь, Ибрагим? — улыбнулась Юндуз. Живи она в других краях, среди горных трав или у леса, была бы девушкой миловидной, даже красивой. Но кровь ее, как у всех женщин, работающих по щиколотку в реке, наполовину разбавилась мутной водой. Она росла, точно приисковая заря над заболоченной заводью, тусклая и безнадежная.

В толпе запели «Ирендыкского беркута»¹. Этой песней их с Юндуз дразнил весь прииск:

Вечером свидимся, приласкаю», — сказал я.
На ее правой руке серебряный перстень,
Двойной браслет, талия тонкая.
А она ответила: «Старики увидят, нельзя, душа моя»².

— Как живешь? — спросил Ибрагим громко, чтобы заглушить издевательское пение.

— Как все, милостью Всевышнего. Только ноги болят, распухли. Опять я их застудила.

Ибрагим смутился: зачем она говорит с ним о таком? Было в ее сетовании что-то старушечье. Он вспомнил икры мойщиц золота, торчащие из воды, — широкие, все в червях вздутых вен, и поморщился. Вот какая жена ему достанется!

— Коли ноги болят, надо встать босиком в муравейник. Так моя старшая мать делала.

— Что ж, попробую, — деловито согласилась она. — А ты к нам вечерять не зайдешь?

— Так ведь еще не воскресенье.

— Ну и что. Заходи!

Ибрагим понимал: если согласится, свяжет себя еще крепче, Хасан от него не отступится.

— Ладно, зайду. Только вот своим скажу, чтоб не дожидались.

Холостяцкий барак уже пытел паром и дымом — тут было горячее, чем на солнце. Кипятили чайники, разворачивали газетные свертки с селедкой, закуривали самокрутку. Ни Бикбулата, ни Ишмата не было — значит, решили искать заповедную жилу до темна, оттого за завтраком ели много. Но Ибрагим был научен опытом — впрок не наешься. Надеялся, что они, оголодав и не найдя ничего, уgomонятся. Тогда ему не нужно будет их переубеждать.

Времени у него хватало. Он вышел к умывальникам и ополоснул лицо, шею. Вода нагрелась, будто он зачерпывал неостывший чай. За глухой стеной барака над запекшейся мусорной кучей зудели мухи. Он смахнул с рубахи капли и пыль. От ступней к плечам поднялась дрожь, перетряхнула.

¹ «Ирендыкский беркут» — башкирская народная песня.

² Перевод с башкирского — автора.

— Все от голода, — объяснил он себе.

Жара не спадала даже вечером. Ибрагиму мечталось, что рудник до краев полон водой, как озеро, и он скоро в ней искупается. Он еле волочил ноги, тело вязло в усталости.

Вдруг земля будто взбучилась, взвыла, заурчала, как пустой живот. Из шахты послышался скрип, и грохнула бадья.

— Таки лопнула веревка, — сказал он равнодушно.

Не успел дойти до крыльца семейных, как сквозь знойную дремоту заголосил колокол. Внезапно из закатного марева возникли люди, муравьиными струйками потекли к колодцу шахты, крича, бестолково размахивая руками:

— Обвал! Обвал!

На перепутье (июль 1912 г.)

Заброшенный рудник превратился в позабытую могилу. Штейгер погнал рабочих дальше. Для них это кочевье было безрадостным бегством — от старой беды к новой. А земля, через которую они прокладывали шахты, оставалась разоренной, разворованной. Змеиная сила свистела и манила, и люди шли за ней, перемалывая все живое в золотоносный песок. Ибо аждахе было угодно, чтобы над землей все было так же мертво, как под землей.

С тем же дурманящим свистом она набрасывалась на людей, опустошала их души. Человек еще бодрится, еще рвется вперед, а нутро его изрыто, вся руда жизни выработана. Приложи ухо к груди — услышишь гул пустой штольни вместо биения сердца. Вот-вот обрушатся тонкие перекрытия, и его не станет.

В тот вечер, когда случилось несчастье, Ибрагим так и не дошел до Юндуз. Заварилась кутерьма до самой ночи. Под завалами погибли дежурные сменщики, не досчитались и троих его приятелей. Хасан догадался, что давешний разговор о приметах Ибрагим завел неспроста, строго на него поглядывал, но молчал. Вдова Тазитдина, Уммениса, сама всех выдала:

— Говорила я ему, не суйся, куда не следует. Зачем он связался с этими мальчишками! — выла она, раскачиваясь и колотя себя кулаком по виску. Платок съехал с ее головы, высвободились две тугие косы и черными змеями обвилились вокруг ее шеи.

Штейгер охотно свалил вину на погибших, причитавшуюся им плату списал как штраф, потому Умменисе не дали расчет за мужа. Одним ее заработком нельзя было прокормить детей, и она решила вернуться в родную деревню, за пятьдесят верст по горам. Привязала к груди младшего, посадила среднего на худой тюк, уложенный в маленькую деревянную телегу, сама впряглась в оглобли, а старший Лотфулла пошел следом, закинув за спину узел с провизией.

Ватага приисковой ребятни увязалась провожать их, а женщины заспорили, много ли дней у них уйдет на дорогу, и что если не примут обратно в семью. Но тревоги за собственную участь вскоре перебили все разговоры о покойных рудокопах и Умменисе. Кто уходил на новые прииски, кто остался домывать песок. Хасана, как и других стариков, перевели на вашгерды, а молодых, вместе с Ибрагимом, назначили в разведку — копать шурфы под новые разработки.

За несколько дней до отправки по баракам прокатился крик:

— Эй, гляньте! Лотфулла вернулся! Один, без братьев и матери!

Лотфулла стоял у семейного барака, оборванный, грязный, с морщинистой гримасой ужаса на лице. Его умыли, накормили, стали допытываться, что стряслось. Мальчишка только неразборчиво мычал и всхлипывал. На другой день его снова выпрашивали, он отвечал путанно и странно. Будто у вершин Ирендыка они набрали на огромный утес. Видом он был, как бай в высокой меховой шапке. Вдруг утес ожил и повернулся к ним лицом. Это был древний тай-эйяхе — дух горы. Стоило младшему брату посмотреть ему в глаза, как он тут же обратился в камень. Уменниса велела детям бежать и не оглядываться. Но средний брат Лотфуллы не послушал ее. Мать вернулась к нему, и оба застыли соляными столпами. Лотфулла один бежал три дня и три ночи, пока не добрался до приисков.

— Сочиняешь, малай! — возражали ему. — Отсюда до вершины Ирендыка от силы полтора дня пути. А вы ушли почти две недели назад. Хватит врать! Где ты был? Что на самом деле случилось?

Но Лотфулла бился будто в судорогах, закатывал глаза, так что одни белки сверкали, и кричал:

— Все так и было. На нас напал дух горы.

Его успокаивали, отпаивали молоком и снова выводывали:

— Скажи правду! Никто тебя не накажет. Где твоя мать и братья? Может, им еще можно помочь!

— Дух горы! Дух горы! — вопил Лотфулла до изнеможения.

И по-доброму, и по-злому его переспрашивали: гладили по голове, угощали медом, шлепали и щипали, а он все твердил свое. Потом махнули рукой. Пару дней он проболтался на приисках, прибываясь то к одной знакомой семье, то к другой, и отовсюду его шпыняли — кому охота повесить на себя еще один голодный рот, когда собственные дети недоедают. А Лотфулла к тому же вернулся таким странным, так постарело его лицо: вдруг в горах в него вселился шайтан, и кто знает, что он сделал со своими родными?

Утром, когда Ибрагим отправлялся со своим отрядом на Кусеевские холмы, он заметил Лотфуллу, спящего под крыльцом семейного барака. Ему стало горько за прежде веселого мальчишку, любимца и гордость Тазитдина, который валялся теперь за порогом своего бывшего дома, как шелудивый щенок.

— Эй, заяц! — позвал его Ибрагим. Лотфулла тут же проснулся, потер кулаками глаза. — Пойдешь со мной руду искать?

Мальчишка стремглав кинулся к нему:

— Пойду, пойду, Ага! Буду вам белье стирать, еду готовить! Все для вас сделаю! — залепетал он. Так и неся за ним вприпрыжку, боясь отстать хоть на шаг, как дворняжка, которую поманили потрохами.

Ибрагим был рад уйти подальше от бараков и шахт, ночевать на богатом полевым воздухе. За разведку платили щедрее, еду покупали всей бригадой вскладчину. Субботнюю работу они заканчивали к обеду — все равно никаких проверяющих уже не будет. Запасались в Кусеево вдоволь хлебом, картошкой. Ибрагим не ходил больше на выходной к Юндуз, хоть и мог успеть туда и назад за день.

— И нечего с ней знаться! Всех подряд на прииске привечает эта прилипала! — радовался Лотфулла.

— А ну, прикуси язык! — выговаривал ему Ибрагим.

В одну из таких суббот, когда солнце еще не начало клониться к вечеру, Ибрагим пошел за водой на Ялангаскуль. Лотфулла с первых дней позабыл свое горячее

обещание во всем ему помогать: как дело доходило до какого-нибудь поручения сверх работы, так он тут же прятался. Потому Ибрагим приходилось самому таскать воду.

Над обожженными холмами сиреневой тучей колыхалась гряда Ирендька. Ибрагим мечтал взобраться на нее и заглянуть за край. Конечно, даже с такой высоты не увидеть Ильсегулово. Но хотя бы посмотреть в ту сторону, где дом. Каждый выходной он шел к нему. Сколько пригорков ни преодолевал, а хребет не становился ближе, маячил впереди, недоступный, как солнце, и он поворачивал обратно.

Ибрагим с тоской оглядел гору:

— Все-таки встану завтра пораньше и заберусь на самый верх.

С этой мыслью он зашагал обратно к палаткам.

Кашеваром в их отряде был Уразмет. Он стряпал скудно, бережливо, но с особой бедняцкой смекалкой. На этот раз он колдовал над картофельной похлебкой: добавил лебеды и дикого лука, сгустил яйцом — вышло не хуже, чем у Юндуз. «Коли так жить, то можно бы и не жениться!» — подумалось Ибрагиму.

— Что, о невесте грустишь? — усмехнулся Буранчи и протянул ему кружку с арака. — На-ка, утоли тоску!

Ибрагим покачал головой. Он не выносил жгучий приторный вкус водки, пару раз пробовал преодолеть себя и глотнуть, но сплевывал.

— Бери! Мы твоему тестю не скажем! — ухмыльнулся Буранчи. — Пей же! Сегодня есть за что! Я до Мингажевской бригады ходил. Штейгер сказал: с понедельника оттуда поведем новую шахту.

— Да ну! Нашли? — оживились остальные. Ибрагим потихоньку поставил кружку возле своей пиалы.

— Говорят, богатая должна быть выработка. Кончились наши тревоги. Без места не останемся.

Ибрагиму стало до слез жаль себя. Пусть лето, такое прочное своим жаром, испарилось бы с первым холодным дождем, шурфы бы тотчас затопило, отсырели бы палатки. Но возвращаться в барак после июльской вольницы он ни за что не хотел.

— Когда снимаемся? — спросил он.

— Смотри, как торопится! Потерпи! Скоро опять будешь со своей Юндуз! Завтра к вечеру пойдем.

Словно осужденный на казнь, Ибрагим решил наперед распределить свой последний день чуть не по минутам. Встанет до рассвета, соберет свои пожитки — и на Ирендьк. Постоит на вершине, поглядит в сторону дома. К ночи успеет к Мингажевским. Поглощенный расчетами, Ибрагим поднял кружку водки вместо пиалы с чаем, и махнул залпом, оторопев от неожиданной горечи. Загорелось во рту, в горле, в сердце. Он закричал, стараясь то ли выкрикнуть, то ли вдохнуть.

— Силен! — похвалил Уразмет.

— Случайно вышло, — сказал Буранчи.

Ибрагим дышал, по-рыбьи разевая рот.

— Как бы не так. Давай, Ибрагим, покажи ему! — Уразмет плеснул ему еще.

Горечь раскрылась в груди приятным теплом. Отлетели беспокойные мысли, голова стала легкой, пустой.

— Не пей, Ага! Не надо! — взмолился невесть откуда взявшийся Лотфулла и грозно напустился на приятелей: — А ну не наливайте ему!

Но те со смехом отпихнули мальчишку. Ибрагим опрокинул вторую кружку.

Теперь он понял: весь секрет был в том, чтобы пить залпом, не цедя сквозь зубы, не купая язык в гадком вкусе.

Боясь, что покой растворится так же быстро, как тепло, Ибрагим выпил снова.

— Ах так! — разозлился Лотфулла. — Ну и пей себе! Вот увидишь, как плохо будет завтра. Уж я-то помню, как по утрам страдал отец.

Угрюмый, он отправился в палатку.

— А что ты на руднике скромничал? Не пил с нами? — язвил Буранчи. — Тестя боялся?

Им вскоре надоело его дразнить, они стали рассуждать, насколько задержатся на новой шахте. Ибрагим удивлялся, как они успевали болтать так проворно. Его язык обмяк во рту оглушенной рыбой.

Голоса неслись откуда-то сверху, будто Ибрагим сидел на дне шурфа, а они говорили у самого края. Их тон стал развязнее. Даже бараны, что паслись на Кусеевских лугах, блеяли пьяно. Казалось, все захмелело вместе с Ибрагимом, понеслось, завертелось, быстрее и быстрее. Ибрагим попытался остановить это тошное вращение — закрыл глаза, но не помогло.

Он встал. Крутящийся диск мира ударил его в грудь, он пошатнулся, его занесло влево.

— Эй, куда? — засмеялся Буранчи.

— Оставь ты человека, не видишь — нужда ему! — хихикнул Уразмет.

Ибрагим прошел поле, стал подниматься по холму, поросшему березами. Черные чечевички зияли на серой коре и складывались в тысячи шахтерских лиц, измазанных сажей. Частокол скорбных лиц. Ибрагим долго плутал в роще, как в лабиринте.

Наконец, он выбрался из рощи на залысину холма. Запнулся о камень, растянулся на траве. Но и тут не было никакой опоры. Земля раскачивалась, уплывала из-под него. Он старался уцепиться руками, взглядом хоть за что-нибудь. Небо тоже ходило ходуном. С одного его края колыхалась заря. С другого — в черном омуте бултыхались звезды.

— Опять они! — закричал Ибрагим. — И сюда пробрались Твои согладатаи?

Ибрагима так расшатало, что со дна души поднялся тяжелый осадок: невысказанные страхи, обида, ненависть. Они потекли к горлу и выплеснулись из него:

— На кой я Тебе нужен? У Тебя разве нет других дел? — Ибрагим захлебывался. — Молчишь и смотришь, как любая мерзость сходит людям с рук.

Он приподнялся:

— Гюльназ погубили, а Ты и глазом не моргнул!

Ибрагиму надоело ворочать непослушным языком, и слова стали выходить из него одним сплошным криком, смысл которого был понятен только Богу.

Потом крик сменился приступом смеха.

— Теперь я знаю, почему! — сипло смеялся Ибрагим. — Ты ничего не можешь, только глядеть со своей верхотуры.

Ибрагим похлопал ладонью по земле:

— Тут, куда Ты брезгуешь спускаться, давно поселились и заправляют другие силы. Скоро они все выползут из своих нор и даже небо у Тебя отберут. Ты и тогда промолчишь?

Он смеялся долго, заводясь все больше. Так и уснул, похохатывая, как дети всхлипывают после бурных рыданий. В эту ночь Ибрагима не мучили никакие воспоминания.

Его разбудили лучи солнца, горячо растиравшие лицо. Он открыл глаза, встал. Свет тяжелым ударом сшиб его с ног. Хотелось укрыться в холоде, во тьме, хоть бы на дне свежевыврытого шурфа, и лежать там не шевелясь. Он пополз в сторону озера.

Каждое движение вызывало тошноту. Спазмы камнями перекатывались из живота в горло. Снова и снова, до натужной икоты. Казалось, его рвало собственной перегнившей плотью, застоявшейся тоской. До тех пор, пока он не впал в дремотное бессилье. Так повторялось много раз, до полудня.

Когда немного полегчало, он сел, огляделся. На горизонте, в распаренном воздухе трепетал Ирендик — неизменно далекий.

— Так и не дошел. Последний день потерял. Пустой, никчемный дурень!

Он стал колотить себя по лицу, по груди. Сухо скуля, повалился на землю. Пенные клочья лабазника сомкнулись над ним.

Ибрагим долго смотрел сквозь траву в раскаленное белое небо. Знойный стрекот цикад свербел в ушах. Сквозь одуряющий звон он услышал родные звуки, давно забытые: низкое гуканье, скрипучие взвизги, хруп. Еще не подняв головы, одним только слухом он увидел табун. Запах конского пота, отдающего сосновым дегтем, напомнил о первых скачках на йыйыне.

Ему было лет шесть — самый возраст для состязаний, ведь чем меньше всадник, тем легче коню. Ибрагим резво погнался Куныра, и тот, почуяв азартное упрямство малолетнего наездника, вдруг признал его власть над собой, помчался галопом.

А сразу же за этим Ибрагиму представился тот же конь десять лет спустя. Как тот доверчиво положил морду ему на плечо, дыхнув в щеку. Он не забыл ни хруст ножа, которым он проткнул шею коня, ни жар крови, что полилась по запястью.

Ибрагим ощутил во рту скверный, тухлый вкус предательства. Чтобы поскорей стряхнуть с себя прошлое, встал, сплюнул.

Со степной стороны и правда шел большой табун. Вздутые сургучные капли лошадиных спин блестели среди линялой овсяницы. Они склоняли головы, и черные гривы проливались на траву. Лошади жевали в полусне, изредка взмахивая хвостами.

Но с самого края выпаса Ибрагим заметил странное волнение. Кобылы озирались, нервно прядая ушами — рядом сцепились кони, саврасый и гнедой. Встав на дыбы, они припечатывали друг друга копытами. Сперва Ибрагиму показалось, что два жеребца бьются за косяк, но потом увидел, что саврасый был оседлан.

— Что за дела? — воскликнул Ибрагим. — Где же пастух?

Саврасый, слегка прихрамывая на переднюю левую, отступил, зашел к кобылам с другой стороны, не по-вожацки, робко, заискивающе. Гнедой снова настиг его, но саврасый успел кинуться первым, прихватил гнедого за ухо и с силой рванул челюстью, послышался визг.

Свист хлыста пронесся над головой Ибрагима:

— Шайтан, что ты делаешь? — кричал на него подоспевший пастух. — А ну отгони своего коня!

— Моего? — удивился Ибрагим, но послушно побежал к коню, поймал, взял под уздцы и зашептал: — Иди-ка сюда, усал!

Конь неуверенно последовал за ним, отворачивая от него морду то ли в испуге, то ли в презрении.

— Чего отпускаешь коня, где табун пасется? — возмутился ему вдогонку пастух. — Ты мне еще за порчу жоака ответишь! Гляди, твой ему ухо откусил!

¹ Усал — злодей.

— Как он откусит в удилах?!

— Очень даже! — препирался пастух. — Ты бы хоть стреножил его до того как завалился спать!

Ибрагим махнул рукой, вскочил в седло, пришпорил коня, тот неохотно сделал несколько шагов.

— Быстрее, шайтан тебя возьми! — говорил ему Ибрагим на ухо.

— Так ты и ездить толком не умеешь! — смеялся пастух.

Саврасый не шел быстрее рыси, будто издевался. Меж тем Ибрагим обнаружил, что ему достался породистый иноходец, в скаковой форме. Совсем как конь, которого увел у него на торге вор.

— Будто и впрямь тот самый! — прошептал Ибрагим. — А все-таки что случилось с твоим хозяином?

Когда табун скрылся за косогором, саврасый взбрыкнул, сбросил Ибрагима со спины, повернул к полям, где они вели разведку, проковывлял еще немного и встал, поглядывая поверх Ибрагима.

— Прав ты, братец! — Ибрагим потер зашибленный бок. — Нечего на чужое зариться! Если твой хозяин объявится, вот будет дело! В Сибирь сошлет.

Он поднялся, посмотрел в сторону Ирендька. Бледный осадок неба лег на хребет.

— Ну, ступай к своему хозяину! — прикрикнул Ибрагим и махнул рукой. — А мне, видно, судьба идти к Юндуз!

Он отвернулся от гор. Решительно направился к стоянке, насвистывая «Ирендькского беркута»:

Страстно поцелую ее в левую щёчку и скажу:
«Старики на нас не смотрят, душа моя!»¹

Конь нагнал его и преградил путь.

— Ты чего? Иди-ка от греха, ищи хозяина.

Ибрагим обошел его и продолжил путь. Конь поплелся рядом, похрапывая. Стоило Ибрагиму пойти быстрее, ускорился и саврасый, снова выступил вперед и потоптался перед ним, понунив голову.

— Да что с тобой! И не даешься, и не отпускаешь!

Скакун уперся носом в грудь Ибрагима и слегка подтолкнул.

— О помощи просишь? Приболел, что ли? Ну пойдем, посмотрим.

Ибрагим снова взял его под уздцы и хотел повести к озеру. Но конь за ним не последовал, потащил совсем в другую сторону.

— Что за дух в тебя вселился? Куда ты меня ведешь?

Конь тянул его долго, до того поля, откуда бригада Ибрагима начала разведку. Кучи глины вокруг незасыпанных шурфов успели порастить травным пушком. Брошенные колодцы кое-где заполнились водой из подземных ключей — в этих местах они залегали высоко, оттого разведку здесь остановили.

Конь вышагивал медленно и осторожно, и зайдя чуть не на середину поля, остановился у одной из ям и ворчливо пофыркал. Рядом с ней валялось одеяло, а вокруг лежали книги, колышась перелетом страниц или задрав корешки. Ибрагим видел такие же у Нахретдина, но боялся даже притронуться к ним своими нечистыми

¹ Перевод с башкирского — автора.

руками. Эти книги были причастны великим тайнам, знать которые Ибрагиму было не дозволено. Он осторожно обошел их.

— Это еще чье? Зачем ты меня сюда приволок? Гиблое место, — начал было Ибрагим. Но вдруг из-под земли послышался женский голос:

— Оскор! Ты вернулся! Никак привел кого-то?

— Аждаха! — прошептал Ибрагим и попятился.

Свободна (июль 1912 г.)

«Не бойся тьмы — зажги огонь, и она скроется. Не бойся духов — прочти молитву, и они падут. Не бойся дикого зверя — и его побеждает огонь. Бойся человека, родной мой. В голове его — несокрушимая тьма, его сердце одержимо всеми злыми духами, коварством своим он превосходит зверя. Он назовется твоим другом — и заманит в капкан. Он назовется твоим братом — и погонится за тобой с ружьем.

Так охотился за мной Кагарман, с которым мы были вместе с рождения. Едва я вскочила на коня, — прицеливался и стрелял. Одна пуля свистнула у моей правой ноги, другая чиркнула по левому уху. Спасло только то, что мне достался его самый быстрый скакун Оскор. Конь побежал, не разбирая дороги. А пули плевались нам вслед.

Долго мы мчались, а все мерещилось, что за спиной по-прежнему наш двор, где лежит переломанное тело Алдара, и пламя свечи в руке отца высекает из тьмы свирепое лицо брата. Все прибывалось ко мне эхо выстрелов и криков:

— Убью! Бесстыжая!

Я жалась к шее Оскора, боясь глядеть назад. Острой иглой мы вошли в черную чешую ночи и пронзили ее, как кожу дракона. Блеклый предутренний свет полился из ее брюха. Рана росла и ширилась, вызволяя долину из темного плена. Древний демон был повержен — и вместе с ним мой страх и мое рабство.

Чем дальше, тем больше мне открывалось: речка в трещине холмов, деревце на краю ущелья, покатые степи, сизые низины — вплоть до высокого хребта на краю земли. Я оказалась посреди целого мира. Одна, сама по себе. И мир этот был полностью моим. Никто не мог остановить меня, я правила, куда хотела.

Ветер обдувал нас со всех сторон, а спина коня подо мной была горяча, как лавка в растопленной бане. От этого жара и прыти сделалось необыкновенно страшно и хорошо. Я больше не пригибалась, не пряталась, села прямо, даже чуть запрокинув голову, расправила плечи. Волна тепла поднялась к солнечному сплетению, в ней было что-то животное, дикое, новое. Как утоленная жажда, невесомый миг на вершине прыжка, первый побег от олэсэй, но ярче. Я не успела опомниться, устыдиться. Это чувство превратилось в крик:

— Свободна!

И мир исполнился моим голосом. Едва я ощутила свое тело так остро и полно, я вмиг будто напрочь лишилась его. Плоть растворилась. Я стала одним дыханием — паром, который скоро рассеется.

Вдруг то ли Оскор испугался резкого громкого звука, то ли я пережала коленями его бока, конь врылся в землю, немного завалившись вперед. Я перелетела через его голову, покатила. Земля внезапно оборвалась. Я упала в какой-то широкий колодец, захлебнулась водой, завозила руками и ногами по дну, встала. На мое счастье воды было немного — едва выше колен, но колодец оказался глубокий, до краев не

дотянуться. Я слышала, как наверху Оскор недовольно фырчал, и позвала его. Но конь еще немного постоял, отдышался и медленно пошел прочь.

Жизнь разом перевернулась. Минуту назад я правила, куда глаза глядят, не желая знать ничего, кроме воли, а теперь сижу в ловушке, из которой не выбраться.

Тут уж настигли меня прежние ужасы. Вдалеке почудился клик коростели, которым звал меня Алдар, его рев, тишина, наступившая после, голоса отца и брата. Напрасно я поверила, что свободна. Одна в чужих краях ни за что бы не продержалась: свои догонят или чужие поймают — одна погибель.

Но даже такая участь была бы легче, чем долгая смерть в этой яме. Только я об этом подумала, как почувствовала усталость и боль в перебитом теле, стоять в воде, в мокрой одежде было холодно, засвербела царапина на ухе, в животе все сжалось, не от голода даже — от страха голода.

Я стала карабкаться вверх по стенкам колодца. Но земля была сырой и склизкой. Я соскальзывала в воду. Попыталась еще раз и съехала вниз. Нет, так мне не вылезти. Тогда я придумала вырыть в стене углубления, чтобы было куда поставить ногу. Это оказалось непросто: почва была крепкая, спаянная с глиной. Потом я нащупала на дне пару камней и стала сперва долбить ими отверстие, потом ладонями разгребать отколотые куски.

Мне казалось, я работала быстро. Но уже поднялось солнце, жаркие лучи дотянулись до меня. А ступеней было готово только пять. Я опробовала их и снова сорвалась, пальцам не за что было зацепиться. В отчаянии я отбросила камни и села в воду.

Тогда я принялась молиться. Не Аллаху, Всевышний был на стороне отца и брата. Я знала одно имя милосердия — Фатанат-ханум. Ее и просила о помощи.

Не помню, сколько я так просидела. Уже шепот мой стал дремотным, беспорядочным. Вдруг слышу вдалеке лошадиный храп и юношеский голос:

— И зачем ты меня сюда приволок? Гиблое место.

К этому времени мне было все равно, на беду ли пришел этот человек, и что он со мной сделает, я закричала, лишь бы не остаться в колодце:

— Оскор! Ты вернулся! Никак привел кого?

— Аждаха! — в страхе воскликнул кто-то наверху.

Вот дела! Незнакомец сам меня испугался! Как бы не убежал.

— Постой! — закричала я. — Нет тут никакой аждахи. Только я. Я упала в этот проклятый колодец. Помогите мне выбраться.

— Как тебя угораздило? — спросил кто-то. — Значит, конь твой?

— Мой.

Он осторожно подошел к краю и заглянул вниз. Яркое солнце било прямо в глаза, и я не увидела его лица, только плечистый силуэт. Зато он рассматривал меня долго и молча.

— Тут веревка нужна, — сказал он наконец.

— А тыними с Оскура сбрую, — нашлась я. Мне не хотелось отпускать его за веревкой: что, если не вернется?

— Думаешь, выдержит? — пробурчал он, отходя от ямы, конь угрожающе рыкнул, лягнула уздечка. — Хватайся за поводья, а я потяну.

Он лег на землю и сбросил мне край сбруи. Со дна я едва могла коснуться ремня кончиками пальцев, тогда я взобралась на свои ступеньки, поймала поводья и что было силы вцепилась в них.

— Тащи! — крикнула я незнакомцу. Кряхтя, он потащил меня вверх, я отталкивалась ступнями от стен. Еще немного — ремни натянулись, закрипели, вот-вот лопнут. Но уже показался холм, и я легла грудью на траву, отпустила сбрую, подтягивая себя руками, проползла немного вперед, еще боясь подняться, не доверяя земле.

Он сидел поодаль, вытирал пот со лба коротким рукавом рубахи, высоко поднимая руку и упираясь лбом в плечо. Мне навсегда запомнился этот простодушный жест и озадаченная улыбка. Я редко встречала такие лица, как у него. Хоть оно было изможденным, серым, но заключало в себе своевольную силу. Обычно бедняки смиренно опускают глаза, слишком поспешно и угодливо. А он смотрел, куда хотел. И не как баи, их надменность слепа, не видит дальше носа. А его глаза были пронизательны. По всему угадывалось: непростая жизнь выточила такой взгляд.

— Как тебя зовут? — спросил он через некоторое время. Садиться ближе он опасался.

— Сурур.

— Меня — Ибрагимом. Гляжу, ты не из приисковых, — сказал он с некоторым восхищением.

— Я издалека, — ответила я уклончиво. — И грозит мне теперь большая беда. Так что, ежели боишься, лучше сей же час отдай коня и иди своей дорогой.

— Что же с тобой приключилось?

— Долго рассказывать, да и ни к чему. Гонятся за мной родные братья, что злее самих духов злобы. Кто со мной пойдет, со мною разделит их гнев. Кто предаст меня, тот ответит перед святой птицей Хумай.

Он взглянул на меня с благоговейным ужасом. Я едва сдержалась, чтоб не улыбнуться, — не думала, что он так впечатлится.

— Воистину, ты послана мне Всевышним, — заговорил он, отходя на шаг назад. — Я помогу тебе. Скажи только, что сделать, и я сделаю.

— Мне нужно в Троицк, к Зайнулле-ишану Расулеву.

— Как же! Слыхал о нем! — закивал он, — К кому же еще отправит Всевышний своего ангела — в наших убогих краях. Кроме него святых тут больше нету.

Ибрагим тут же вызвался сопровождать меня в Троицк, но сперва ему надо было уладить кое-какое дело. Он привел меня к озеру, что было поменьше и светлее Талкаса, с белесой водой в желтом песчаном блюде.

— Тут место нехожее, бояться нечего. Если все же пройдет кто и спросит, чего-откуда, скажешь, мол, ты шахтерская, Ибрагима сестра, назовешься Аклимой. А я скоро.

Со страхом мы расстались. Я не хотела отпускать его, хоть не подавала виду. И он боялся оставить меня — я это почувствовала».